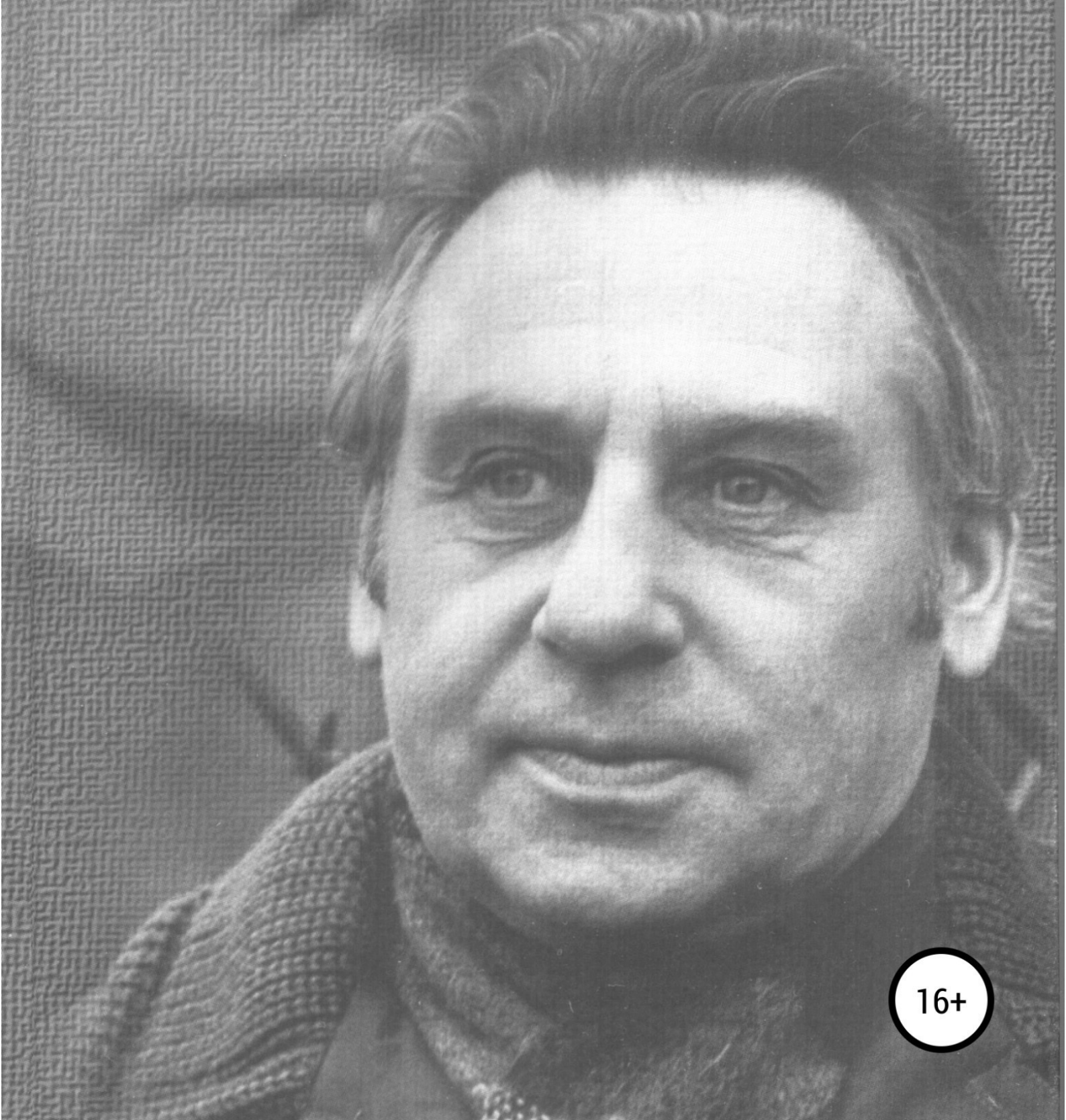


Бернгард Рубен

Двое
на холсте
памяти



16+

Бернгард Рубен
Двое на холсте памяти

«ЛитРес: Самиздат»

2006

Рубен Б. С.

Двое на холсте памяти / Б. С. Рубен — «ЛитРес: Самиздат»,
2006

Этот автобиографический роман - история светлой любви, трагически оборвавшейся смертью героини (подлинное имя которой Евдокия Александровна Ильинская). В романе, действие которого происходит в последний период советской эпохи, раскрывается вечная тема жизни людей, стремящихся жить по совести, несмотря на окружающую их действительность. Автор известен читателю ранее вышедшими книгами: "След войны", "Знойный день в Заполярье", "Армейские повести", "Давние рассказы", "Алиби Михаила Зощенко".

Содержание

Часть первая. Две души	5
I	5
II	26
Часть вторая. Две судьбы	40
I	40
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Часть первая. Две души

I

Похороны Дуни прошли у Кортина на том же перенапряжении, с которым он действовал весь этот последний год ее жизни. Год начался новой вспышкой болезни, приведшей ранней весной к третьей операции, продолжился затем одним курсом химиотерапии, летом другим, а закончился последними месяцами борьбы осенью и зимой, когда он с одержимостью веры и непризнания какой-либо силы сверх его воли и надежды бился спасти ее, вынести из этого смыкавшегося смертного кольца до того, как оно сцепится своими концами-захватами. И когда все усилия оборвались смертью, его пронзило самообвинение: не успел, не сумел, упустил. Сам упустил последний шанс, уже имея в руках спасительное средство.

После поминок он отправился к себе домой, оставив в квартире Дуни немногих ее родственников, прилетевших на похороны из дальних мест, – вдову недавно умершего брата, который был на шесть лет младше Дуни и за судьбу которого она переживала всю жизнь, и самого младшего брата по второму позднему отцовскому браку, молодого совсем человека. Прилетал также один из племянников, студент-медик, но уже улетел обратно в свой институт. А сам восьмидесятилетний Дунин отец не двинулся в эту скорбную дорогу. Что до московских родственников, то отношения с ними в последние годы у нее почти прервались, и никто из них на похоронах, как и в течение всей болезни, не появился.

Оказавшись один, Кортин почувствовал, что обессилен и опустошен. Последний долг был отдан, ничто больше не могло иметь существенного значения. Но дела и обязанности все еще тянулись за ним. Необходимо было распорядиться ее вещами, оделив прежде всего прибывших родственников, – он видел, что они, не говоря о том, ожидали такого полагавшегося распределения. Еще надлежало ему подготовиться к скорой сдаче ее квартиры, избегая угрожающих требований и предупреждений. И по этой причине также следовало побыстрее раскассировать ее имущество.

Имущество Дуни, кроме денежного пая в жилищном кооперативе, составляли только домашние вещи – недорогая мебель и посуда, скромный гардероб. Все это были нужные, в большинстве своем добротные, милые вещи, приобретающиеся не с маху, на весьма небогатые средства, но непременно по вкусу, с прикидкой и выбором; многие из них служили ей долгий срок и сделались привычными спутниками ее жизни, приняв в себя облик самой хозяйки. Так что перебирание ее вещей было для Кортина мучительным. С него хватило одного вечера после поминок. Ноги больше не понесли его туда, он не мог видеть ни этих вещей без Дуни, ни ее родственников, ни выступать там обходительным хозяином и отстраненно подумал, что пусть родственники сами делают в квартире все, что им надобно.

Оставшись у себя дома, он схватился за продолжение своего дневника, записи в котором были прерваны похоронами. Он записал:

«21 декабря 1978 года, четверг, 9 утра, Сокольники.

Прошли уже и похороны, и началось какое-то пустое, смутное и постыдное существование, постыдное оттого, что на этой земле мы живем в окружении вещей, которые нам нужны, приятны, удобны или просто необходимы, и людей, которых далеко не всегда мы выбираем сами, но вынуждены вступать с ними в те или иные отношения...

Восходит солнце, метет снег, мороз, и здешняя жизнь переваливается по земной поверхности, а Дуня лежит под землей, без неба, солнца, снега. Но это тело ее лежит там, а душа? Где она, и как теперь она обитает, в каком окружении, и каков у них там порядок? А во мне – безгласный крик, сплошная боль без явной физической боли, заполнившие пустоту в

душе, и страшный в такую пору и совсем нефилософский вопрос – «Зачем все это?» Только одно дело кажется еще нужным и непременно – записать, все записать подробно и точно. В этих записях сходится для меня и прошлое, и нынешняя моя обязанность, и возможность будущего. Я понимал, что мне будет очень тяжело, но разве мы можем представить себе все то, что и как произойдет с нами?!

Буду писать по порядку, по совершившемуся...»

Когда-то, в молодости, задаваться таким вопросом – «Зачем все это?» – было ему интересно: отвлеченно-философская игра ума, обращенная к высшему Разуму, и ты ничего не проигрываешь, не получив точного ответа, поскольку твоя жизнь полна и увлекательна сама по себе. Но вот он лежал во прахе и беспощадно сознавал свое поражение, свою вину, и вопрос этот превращался в утверждение тщеты жизни, прежде всего его собственной со многими в ней ошибками и прегрешениями. И тем не менее, или именно потому, он упрямо стремился закрепить на бумаге все происшедшее.

Он исписал шесть страниц в толстой тетради с обложкой из коленкора, но никакого душевного облегчения этот выплеск ему не принес. Он вдруг с тревогой ощутил, что теряет в себе некую внутреннюю опору, незримую основу повседневной устойчивости в этом мире. И поспешно схватился что-то чинить, налаживать, убирать в своей квартире, запущенной за те несколько месяцев, что он почти не бывал здесь, – стараясь отвлечься физическим трудом так же, как к этому прибегала Дуня для обретения душевного равновесия. Но он не мог найти себе места. Его крутило все сильнее и сильнее. Он пробыл в таком состоянии весь день, ничего не ел, дома было пусто, только чаю он выпил с остатками хлеба. Под вечер, чтобы как-то разойтись, уйти от самого себя, он решил выглянуть на люди и поехал в Дом журналистов на проводившееся в этот вечер заседание секции, к которой был прикреплен. Впоследствии знакомая дама сказала ему, что вид у него тогда был безумный. А ему казалось, что держался он неплохо. Он даже зашел потом в здешний ресторан, выстояв порядочно времени у дверей в ожидании места, поел, наконец, чего-то вкусного и горячего, выпил немного коньяку, с кем-то вежливо переглянулся. И в то же время он отчетливо понимал, что все это у него лишь внешнее проявление жизни, лишь обозначение ее, что на самом деле он уже отделен от окружающих людей замкнувшим его, но невидимым для них колпаком, что он тяжело или, скорее всего, смертельно ранен, только никто этого не замечает, потому что нет крови и он держится на ногах.

Но ему пришлось тогда же вновь мобилизоваться. Пока он сидел в холодном кинозале, где проходило заседание секции, и слушал выступление популярного исторического писателя, а вслед за ним известного публициста, и озирался по сторонам, пытаясь определить – видят или не видят окружающие, что с ним творится, в Дунину квартиру вторглась дама-комендант тамошнего жилищного кооператива. Она взяла в оборот Дунину невестку, выясняя, кто, откуда и на каком основании здесь находится, после чего с тем же административным нахрапом объявила, что квартира умершей, где никто более не прописан, подлежит опечатанию, а все вещи должны быть перенесены в подвал. Перепуганная провинциальная родственница, в панике от столичных порядков, бросилась звонить Кортину, но дозвонилась только в полночь, когда он воротился из своего Домжура. Он живо представил себе всю эту сцену, успокоил ее, даже поиронизировал над ее растерянностью перед московским хамьем и велел без него вообще не пускать никого на порог, пообещав назавтра обязательно приехать. Допущенная наглость возмутила его.

Утром ему позвонила Дунина соседка по лестничной площадке, молодая женщина-врач, которая из жильцов дома была наиболее близка с Дуней. К ней тоже заходила, справляясь, комендант, и она обстоятельно разъяснила этой, как она выразилась, самой крикливой бабе, в каких отношениях состояли Никольская и Кортин, и что он за человек. Оказалось, что на квартиру Дуни уже объявилось несколько претендентов среди пайщиков, и прежде, чем всту-

пить в борьбу между собой, они общим фронтом решили обезопасить себя от посягательств кого-либо из родственников или близких прежней владелицы. В том, что такие посягательства со стороны возникнут, в кооперативе не сомневались, и коменданту была дана команда принять предупредительные меры. Давал команду заместитель председателя, отставник-полковник. Выслушав Дунину соседку, Кортин подумал о том, что развернулась обычная по нынешним временам картинка их жизни, где заведомо считается, что все кругом хапуны и хищники, одним миром мазаны, и нечего церемониться при защите своих интересов.

Однако ведь и то была правда, что отец Дуни звонил ему из своего прикавказского районного городка насчет того, чтобы передать эту квартиру в столице его сыну. Кортин сразу же внес ясность, что никаких законных прав для этого нет, и помочь тут он ничем не может. Да старик и сам это понимал, но возлагал надежды на своего брата в Москве, который немало лет сопровождал влиятельных лиц на их барской охоте. А Кортин он просил лишь задержаться со сдачей квартиры. Кортину претили всякие махинации и хотелось отсечь любую суету над могилой Дуни. Но и сказать об этом ее отцу он не мог – в память о ней; к тому же по ходу разговора он догадался, что звонил старик не по собственному побуждению, а под давлением своей жены, сына и, конечно, невестки, вертевшей его сыном и вмиг нацелившейся на переезд в столицу. Его сын, прибыв на похороны, уже провел свои родственные консультации, не оправдавшие, как и предвидел Кортин, их семейных надежд. Ибо в кооперативном доме осуществить «телефонное право» гораздо труднее, нежели в государственном, и крупные чиновники, получающие все блага от своего государства, в такое дело без крайней для них самих надобности не полезут, мелкие – тем паче. А тут вообще речь шла о каких-то иногородних жителях, не имеющих московской прописки и даже не работающих в Москве. Так что их загоревшаяся мечта быстро погасла, не вызвав никаких практических действий. И Кортин, при всем неприятии существовавших крепостнических порядков, был доволен, что вокруг квартиры Дуни не завязалась эта тяжба, в которую втянули бы и его.

Весь тот день, внутренне подгоняемый требованием освободить квартиру, он старался как-то бережливее распорядиться первым делом носильными вещами Дуни, какие не намечал к продаже. Ему все хотелось получше устроить ее платьица, костюмчики, кофточки, пальто, отдать их близким людям, в хорошие руки, как передают живые существа. Но оказалось, что эти вещи, вполне пригодные, почти новые, почему-то никому не нужны – ни родственникам, ни ее подругам, ни даже явно бедной и несчастной соседке, жившей этажом выше, которая часто заходила к Дуне делиться своими семейными горестями. Все принимали независимый вид и вежливо отказывались. Вероятно, имелись причины, которые он не учитывал, исходя только из своего отношения к вещам, соприкасавшимся с его Дуней.

Вечером он спустился из ее квартиры в такую же квартиру на нижнем этаже, которую занимало правление кооператива для своих административных нужд. Он заранее позвонил туда по телефону и имел при себе паспорт, журналистский билет, нотариально оформленное завещание. Представившись председателю, он сначала сухо осведомился, известно ли тому о требованиях коменданта и считает ли он их законными. Председатель дипломатично промолчал – рядом стоял, по-видимому, его заместитель, ретивый отставник. Кортин протянул председателю свои документы и сказал, что квартира будет сдана только после того, как он упакует и перевезет вещи покойной, а кооператив в свою очередь выплатит ему весь денежный пай, как это следует по завещанию. Председатель лишь мельком, не разворачивая, взглянул на поданные ему бумаги, тут же вернул их назад, выказывая тем доверие к Кортину и свою собственную интеллигентность. Конечно, он все знал о вчерашнем происшествии и получил информацию о Кортине.

– Не придавайте значения данному случаю, мы уже поговорили об этом между собой, – сказал он миролюбиво, чуть оглянувшись на стоявшего рядом с ним заместителя. – Мы вас

не торопим. Общее собрание назначено у нас на январь, тогда и определится новый владелец квартиры, и кооператив сможет произвести с вами расчет.

На прямое извинение его интеллигентности не хватило, поступал в общепринятых нынче рамках: начальство не ошибается и не кается, а он, как-никак, был начальник, председатель. Кортин оглядел комнату, в которой они находились. В стороне, у стены с конторским шкафом стояла толстая приземистая женщина, рост которой, как он прикинул, равнялся ее поперечнику. Нетрудно было догадаться, что она и есть комендант. Из вчерашнего волкодава она превратилась в дворнягу, отогнанную хозяином к конуре. А в Кортине уже ослабел заряд собранности, и он с внезапным облегчением, даже отрадой подумал о том, что Дунина обитель, их Замок, пробудет еще некоторый срок нетронутой, как при ней...

Дунина невестка ожидала его. Она улетала завтра в свой город на Волге, а младший Никольский скоропалительно отбыл домой в прикавказский южный край еще вчера. В ответ на ее вопросительно-пугливый взгляд Кортин только махнул рукой, показывая, что все поставлено на свое место. В этот вечер они вдвоем еще раз пересмотрели Дунины вещи. Он старался оделить ее всем, что могло быть ей нужным, поскольку она осталась без мужа с двумя сыновьями, которых, хоть им и было за двадцать, все еще предстояло поддерживать в жизни. И помня о том, что Дуня любила своих племянников, особенно младшего, работавшего после службы в армии рабочим на заводе и очень похожего на отца, ее покойного брата.

Вообще над всей процедурой распределения вещей между родственниками как бы витал образ его Дуни, их Дины, при всем том, что отношения между двумя семьями, волжской и прикавказской, оказались натянутыми. Кортину пришлось лишь раз-другой сказать «нет», когда дело касалось наиболее памятных вещей, купленных им для Дуни по ее желанию или подаренных их близкими друзьями и доставлявших ей особенное удовольствие. Но в основном он занимался книгами – на его взгляд именно книги представляли главную ценность, тем более теперь, когда все так дико вывернулось, что купить книги настоящих писателей в обычном книжном магазине стало совсем невозможно. Кортин отобрал родственникам две большущие стопки, лишь бы смогли увезти. Что до кооперативного пая, то родственники давно знали от самой Дуни, что квартира эта строилась на деньги Кортина, и никаких трений тут также не возникло. Но они не знали, как трудно было ему в ту пору их знакомства уговорить ее взять эти деньги – в долг, разумеется, только в долг, как бы на длительное хранение, в благодеяние для него же, шалопая, дабы уберечь его гонорарные деньги от легкомысленной растраты. Для нее всегда были важны нормы приличия, и держалась она независимо и строго...

Проводив наутро невестку Дуни, он вернулся к себе домой в Сокольники. И опять почувствовал опустошенность и обессиленность. Все дела с Дуниными родственниками были закончены. Необходимость срочных сборов, перевозки вещей и сдачи квартиры также отпала на месяц. Завтра исполнялось д е в я т ь дней – самая первая отметка, еще не дата, по Дуне, но и тут из предварительных телефонных переговоров выходило, что сбора их компании в этот день не получается, почти у каждого оказывались какие-то важные причины, мешавшие прийти. Наверное, слишком мало времени прошло с горестных и высоких по душевному взлету поминок, не образовалось еще вновь должного настроения для повторного застолья.

Было немного после полудня. Он в разбитости лег на тахту и принялся раскручивать обратно всю ленту событий этого погибельного для них двоих года, приколачивая себя к ней во всех жгучих точках, где он считал, что сделал не то, не так, ошибся, не добился, упустил спасение. К вечеру, когда неотвратимо проползавшая через воспаленное сознание эта протокольная лента, наконец, застопорилась, и терзания стали отпускать его, он позвонил писателю Лозовому, давнему и доброму знакомому Дуни. В бытность свою редактором в Военном издательстве она отстояла честную книгу Лозового о войне, а перед тем помогала ему в отборе материала и настойчиво торопила со сдачей рукописи, словно предчувствуя грядущие перемены. Эту книгу его очерков, дневников и рассказов о Действующем флоте чиновное начальство сразу же

нацелилось зарубить, едва обозначился излет достопамятной о т т е п е л и, но из-за стойкости редактора Никольской успело лишь резко уменьшить тираж при выпуске. Лозовой относился к ней с глубокой сердечностью и, выразив Евдокии Андреевне в дарственной надписи на книге свое уважение и любовь, подписался – «от единомышленника». Он был настоящий друг. Это с его помощью было добыто для нее в «закрытой» правительственной аптеке дефицитное и дорогостоящее заграничное лекарство, державшееся врачами в тайне от массы рядовых онкологических больных. Об этом лекарстве Кортин узнал случайно всего за неделю до ее смерти. И Лозовой, сам не имевший никаких властительных должностей, званий и соответственных привилегий, поднял на ноги наиболее влиятельных своих товарищей-писателей из фронтовиков и через одного из них, депутата и Героя Социалистического Труда, добился получения того препарата, считавшегося исцелительным при раковых опухолях. Но препарат так и остался не примененным, и Кортин обвинял теперь в этом только себя.

Он звонил Лозовому, толкаемый вдруг подступившей потребностью человеческого общения, но имея и конкретный повод – вернуть дефицитное и дорогостоящее лекарство, полученное им к тому же бесплатно по рецепту для онкологических больных. И еще надо было уточнить, не собирается ли Лозовой прийти на д е в я т ь д н е й. Лозовой тотчас ответил, что помнит об этом дне, но простудился, разболелся и сам хотел позвонить Кортину завтра. Взять обратно лекарство, которое Кортин считал своим долгом вернуть именно ему, он наотрез отказался. Кортин, волнуясь, заговорил с ним о Дуне и о его книгах с дарственными надписями ей, и о том еще, что все время думает о своей вине – что он упустил возможности ее спасти. Будто ударенный током, Лозовой воскликнул: «Боже вас упаси, не думайте об этом! Так вы загубите свою жизнь, я знаю это по себе...»

Их сумбурный разговор не принес Кортину облегчения в его приступе одиночества – то был отклик человека доброго, порядочного, но знакомого ему лишь мельком, через Дуню. Звонить следовало собственным друзьям, с ними отводить душу. Но как раз это было для него большее одиночества – обращаться самому за помощью к близким людям.

После разговора с Лозовым у него остался осадок недовольства собой, будто он пробовал укрепить их знакомство, используя память о Дуне. И еще получалось, что, по всей видимости, д е в я т ь д н е й он будет отмечать один.

Получилось, однако, иначе. Когда он сидел с утра у себя в Сокольниках за записями в дневник, продвигая свою летопись, раздалось несколько телефонных звонков. Кое-кто все же собрался прийти на эти д е в я т ь д н е й. Кортин назначил им Измайлово, куда намеревался ехать вечером сам. Но теперь поехал днем, чтобы подготовить хотя бы скромный стол и на скорую руку прибрать квартиру. По дороге, как и рассчитывал, он купил без затруднений сыр, яблоки, зашел в Дунину булочную, где из сортов белого хлеба застал длинный тонкий батон, который она наиболее жаловала, потом еще раз выходил за водкой и сухим вином и разжился вдобавок ветчиной – «так называемой ветчиной», как говорили они с Дуней, но к которой все уже, на удивление скоро, привыкли, будто и не было никогда настоящей. Кортин считал, что из мяса, шедшего на килограмм прежней колбасы, делается, наверное, килограммов десять нынешней, «брежневской», и покупателям, помимо приспособления к ее новому вкусу, остается только надеяться, что вкладываемые заменители нейтральны для здоровья. Но Дуня на это не надеялась, напротив, была убеждена в обратном. И они почти не покупали колбасных изделий, сосисок и сарделек. Однако сейчас он обрадовался этой ветчине и удивился, что не было очереди, – везде, во всех продуктовых магазинах стояли очереди и прежде всего за мясом. Видимо, он попал в удачный момент. А, может, и Дунчик подворожила, облегчила его хлопоты...

В Замке тоже имелся небольшой припас – квашеная капуста, заготовленная всего месяц назад по просьбе Дуни ее подругами, селедка и немного красной рыбы, которую он совсем недавно «закошил» для нее в центре города в специализированном буфете, торговавшем

такими вот деликатесными бутербродами. «Закосить» – это было слово, взятое ими на вооружение из повести Солженицына о заключенных-лагерниках и употреблявшееся между ним и Дуней, подобно тем зекам, в случае наиболее удачных приобретений сверх обычной скудости. Таким образом, отварив картошки, можно было вполне сытно накормить гостей. А к чаю были куплены в булочной сухие ореховые печеня, тоже повезло достать.

На этот раз было не людно. Поддержали его в основном мужчины из их компании. Пришел Лазарь Мильчин, специалист по прикладной кибернетике, работавший в научно-исследовательском институте культуры. Этот Мильчин являлся у них главным источником информации: он регулярно слушал иностранное радио, состоял приятелем-оруженосцем при знаменитом поэте, часто выезжавшим за границу, был знаком кое с кем из известных ученых, и от них также узнавал немало интересного. Его вообще неудержимо влекло к знаменитостям. Кортин и Дуня между собой называли его «Грюндик» – по марке имевшегося у него первого-классного немецкого магнитофона, который он всегда приносил с собой на их вечера, занимая своими записями большую часть времени. Да они и собирались зачастую именно потому, что у Лазаря появлялись какие-либо новые записи. К тому же и домашний радиоприемник у него был оснащен дополнительным диапазоном коротких волн, отсутствующих в отечественных аппаратах, и он беспрепятственно слушал передачи «вражеских голосов» на русском языке, яростно забываемых глушилками на всех общедоступных волнах. «Голос социализма», – говорила Дуня, когда Кортин безуспешно пытался отыскать какую-нибудь брешь в сплошном гудении и услышать «Голос Америки» или английскую Би-би-си.

Еще пришел Леонид Сахницкий, тоже технар, военный инженер, давний товарищ Мильчина. Прибежала также Нина Григорьевна Резникова, жившая неподалеку в Измайлове, самая практичная и активная из Дуниных подруг. Она успевала везде побывать, все посмотреть, послушать, прочесть, и Кортин не без иронии высказывал Дуне свое сомнение в возможности добротного переварить такое обилие духовной пищи, какое она заглатывала. А уже в середине вечера зашла та самая соседка по лестничной площадке, звонившая Кортину, молодая женщина-врач, которую Дуня всегда приветливо называла Верочкой.

Сев за стол и помянув Дину (Авдотьей, Дуней ее звал только Кортин), они заговорили потом о всяких событиях в стране и за рубежом – об известном дирижере, оставшемся на Западе после европейских гастролей и сделавшимся по официальной терминологии «невозвращенцем», о только что опубликованном в «Новом мире» романе из деревенской жизни, по которому отчетливо прослеживалось, что ничего хорошего в стране при господствующей системе и дальше ожидать нечего, о репрессивных мерах властей, применяемых к инакомыслящим – «диссидентам» – везде, где они открыто заявляют о себе. Все это были разговоры, в которых Дуня приняла бы заинтересованное участие, притом что сама она, как обычно, больше бы слушала, нежели говорила. Это были е е разговоры, но велись они уже без нее и, что болезненно воспринимал Кортин, без той скорбной струны, которая так высоко звенела на похоронах и поминках. Ему даже казалось, что на сей раз его Дуня была для пришедших всего лишь предлогом, чтобы пообщаться, обменяться новостями.

Лазарь приволок, не поленился, огромный том лучших фотографий американского журнала «Лайф» за много лет, изданный в Штатах и привезенный оттуда его знаменитым поэтом, и все с интересом листали этот том и обменивались впечатлениями, а Лазарь выглядел в тот момент главным именинником. Соседка Верочка, никогда ранее с ними не застольничавшая, решила тоже внести свой вклад и принесла из дому фотографию с нашумевшей, но не выставленной в СССР картины Глазунова «XX век», где собирательный лик всего столетия был представлен в лицах людей его определивших, в том числе Ленина и Солженицына. И все живо принялись узнавать те лица, крамольно собранные художником в свою картину-пантеон. Крамольность была и в этом конкретном сочетании, и в присутствии на полотне, кроме изгнанного из страны Солженицына, других давно поносимых фигур, как царь Николай II, Троцкий. Но

главное, конечно, заключалось в самом замысле картины, повествующей о поругании в России религии, революционных катастрофах в мире, о захватившей людей безнравственности и единственно возможном пути спасения, олицетворенном в фигуре Христа над всем этим земным Содомом. Кортин видел и этот публицистический замысел, и умысел художника в подборе и трактовке лиц. И принял участие в обсуждении картины. Но в то же время он никак не мог примириться с тем, что печаль по Дуне была напрочь оттеснена всеми этими будораживаемыми интересами и д е - в я т ь д н е й превращались в обычные их посиделки. Он сдерживал себя, чтоб не нарушать образовавшегося течения вечера, понимая, что для всех других, пришедших сюда, жизнь продолжается своим чередом. Но сам он непрерывно думал о Дуне и явственно ощущал, что душа ее находится здесь же, в Замке, витает около них. Выбрав момент, он сказал об этом вслух, отодвинув, наконец, в сторону слишком оживленный общий разговор. Оказалось, что Нина Григорьевна давно об этом наслышана. Она тотчас подтвердила, что да, действительно, есть поверье: в течение девяти дней души умерших обитают в своем доме и только потом улетают в иные дали. «Так что и Диночка сейчас здесь, с нами», – заключила она с живостью. А Верочка убежденно поправила: «Не через девять дней, а после сороковин».

Кортин вспомнил эти слова в потянувшиеся затем тягостные и никчемные дни, когда зримый образ Дуни вдруг стал временами уходить от него, распадаться, делаться неуловимым. Он испугался и решил немедленно, начав с середины той же толстой тетради, в которой вел дневник, писать ее словесный портрет: «Дуня. Какая она». Он думал о том, что когда-нибудь напишет повесть о ней. Эта мысль уже являлась ему раньше.

Вместе с тем пора было рассыпать их Измайловский замок. Упаковывать и перевозить вещи, которые он намеревался брать к себе в Сокольники, и окончательно определить судьбу всего прочего, также входившего предметными частицами в жизнь Дуни и тем самым в его жизнь. Но жизнь эта кончилась, рухнула. И надо было о с в о б о ж д а т ь квартиру для тех, кто сюда вселится вместо них.

Перед ним маячил уже близкий срок, названный председателем кооператива, но он упорно не нарушал внешнего вида Замка, берег его черты, убранство, цеплялся за эту его кажущуюся незыблемость, на что-то все еще уповая, чего-то еще ожидая свыше, надеясь, да, надеясь на чудо. И чтобы не спугнуть такую вероятность, он как бы исподволь, ненароком упаковывал только то, что содержалось в недрах Замка – в шкафах, стенных кладовках, на закрытых полках, сохраняя иллюзию жизни в этих стенах, помня досконально – что из вещей где лежало, и лелея тайную мысль о внезапной возможности все вернуть снова на свои места. Подобная же мысль сопровождала его и в хождениях по комиссионным магазинам, куда он отнес для продажи Дунины пальто и недавно купленные милые импортные сапожки на редко встречающемся теперь натуральном меху. Это должны были быть заметные деньги при его невеликих доходах и больших тратах последних месяцев. И он, тяготясь таким недостойным делом, стоял там в очереди, предъявлял приемщице свой паспорт для фиксирования места его прописки, передавал в чужие руки Дунины вещи. А сердце его щемила тревога: «Вдруг Дуня вернется?! Во что же тогда она оденется?..» От этой мысли загорались другие, скачущие, возбужденные: «О, если бы вернулась! Накупил бы сразу всего... Только бы вернулась! Ведь может же стать, вдруг явится...» Но он сам и разуверял себя: «Нет, ушла, очень надолго. Вот только душа ее пребывает до сорока дней еще где-то рядом, около, недалеко».

Особенно трудно было ему расстаться с черной каракулевой шубой, купленной Дуней лет двадцать назад и за это время повысившейся в цене в несколько раз. Но и по новой стоимости достать такую шубу сейчас было бы невозможно. Кортин называл ее боярской шубой. После перенесенных Дуней операций она стала для нее тяжеловата. Но в лютые морозы, какие стояли в том декабре, только и ходить было в этакой шубе. В тот вечер, когда он ездил в известный меховой магазин в Столешниковом переулке, он еле добежал потом до метро – так хватало за нос и уши. А душа ныла от еще одной совершенной сейчас и непоправимой ошибки.

Его обступили хозяйственные дела. Он каждый день ездил в Измайлово, укладывал там вещи своим потаенным способом, затем бродил по внешне нетронутому Замку, размышляя о том, что не так-то просто сойти на нет тому, что создавалось с добром и любовью. Здесь каждая вещь, каждая поделка, украшение, занавеска, дверная ручка – все было приобретено или слажено своими руками на радость и удобство, определено на свое место, тщательно подогнано и привинчено. И не поддавалось скорому и легкому разбору, исчезновению.

К себе домой он возвращался поздно, с грузным чемоданчиком, в котором захватывал из Замка очередную порцию книг – перевозил их пока так, попутно, своим каждодневным полуночным рейсом в метро для облегчения грядущей конечной перевозки, неизбежность которой тоже со всей очевидностью сознавал. Как-то он окинул себя в метро взглядом со стороны: в вагоне сидел погнутый жизнью мужчина с заметно седыми волосами, выбившимися из-под меховой шапки, с окаменевшим лицом, читающий в очках журнал или только держащий его перед глазами, но думающий свою думу. И так он одиноко ездил по ночам, вроде бы пребывая в какой-то деятельности, которая была и не деятельность, как он сам считал, а жалкое копошение, сопровождавшееся его же вопросом: «Зачем все это?»

Дома он возился с привезенными книгами, листал их, читал отдельные страницы или главы, потом расставлял, долго определяя им место в своей обширной библиотеке. Ложился он спать когда в два, когда в три часа ночи, и всякий раз давал себе слово прекратить эту ночную жизнь, ввести себя в нормальный режим. Он строго говорил себе, что если он хочет жить и работать, выполняя Дунин завет, а, значит, и во имя их обоих, – ему надо быстрее войти опять в свою трудовую колею. Нельзя лежать поверженным во прахе. Как нельзя ни просить, ни ожидать ни от кого помощи. Надо обрести себя. Надо выдюжить. Подняться. У него есть характер, остался...

По утрам он записывал в дневник, как проходят его теперешние дни и все то, о чем он неотвязно думал и вспоминал. Он как бы вел протокол своей прежней и нынешней жизни, нынешнюю отображал по ее ходу, прежнюю стремился восстановить до мелочей, закрепить на бумаге, чтобы она не пропала в нетях. Он издавна хранил письменные следы своей жизни – старые, с армейских времен, записные книжки, тетрадки, многочисленные письма родных, друзей, знакомых, отдельные листки с заметками и рассуждениями. Он всегда хватался за перо, когда что-либо трогало его ум и сердце. Более или менее регулярно, в тетрадях и блокнотах с добротными обложками, он стал вести записи уже по возвращении в Москву из Заполярья, где закончил свою долгую армейскую службу. Но записи эти, бегло обозначая канву повседневности, посвящались главным образом отклику на общественные и литературные события. И только в последний год жизни Дуни он шел по горячему следу их личной судьбы, стремясь подробно зафиксировать все происходящее с ними двоими. Он писал с одержимостью – чтобы когда-нибудь все вспомнить так, как оно было на самом деле, вспомнить, заново рассмотреть и оценить. Это было его убеждение, образовавшееся в отрочестве и развившееся в сознательную веру, что истина не переменна для человеческой жизни, что без способности и стремления к абсолютной правде нельзя быть человеком. И в этой способности он видел возможность спасения человека, даже совершившего тяжкий грех, ибо то был путь совести. Но для такого пути как раз и надлежало засвидетельствовать пережитое «под протокол», потому что правда и память прочнее всего соединяются в

н а п и с а н н о м с л о в е.

Так он проводил свои утренние часы. Потом он ехал в Замок. По дороге вспоминал, как летел сюда, когда знал, что там его ждет Дуня, ждет на их общую радость и встречу, или, когда она болела, нуждается в его помощи, поддержке, уходе за нею. И эта помощь – прислуги, сиделки, медицинской сестры и самого близкого друга, любящего сердца – тоже была радостью для него. Даже в самые трудные дни ее болезни: все равно это была их жизнь, их совместность на этой земле. А Дуня и в болезни всегда оставалась собою.

Его тянуло в Замок – здесь еще обитала ее душа. В один из вечеров, придя сюда, он устало опустился в ее кресло у круглого журнального столика и застыл, откинув голову назад, закрыв глаза, вытянув ноги. Из оцепенения его вывел телефонный звонок. Кортин медленно поднял трубку, произнес «слушаю» – ее слово, перешедшее к нему, она так отвечала всегда на телефонные звонки. Трубка молчала. Он подождал, еще повторил свое «слушаю» и, не получив ответа, внятно спросил: «Дуня, это ты?» Спросил обычным голосом, с каждодневным своим ожиданием, почти с уверенностью – ведь должна же она была сообщиться с ним как-нибудь. Хоть всего звонком одним...

В те дни он виделся только с Ниной Григорьевной и Верочкой, когда приезжал в Измайлово. И, занимаясь сборами, говорил с ними о Дуне. Он испытывал потребность говорить о ней, о ее душе, о ее жизни. И был несказанно благодарен Нине Григорьевне за вдруг произнесенные слова, что вся жизнь Диночки в этой квартире была окрашена любовью.

Так прошли у него две недели после ее смерти, и наступил Новый Год.

Его звали встречать Новый Год, как обычно, у Мильчиных, в их постоянной компании. И у него, и у Дуни имелись друзья более давние, однако уже в течение ряда лет все праздники они проводили в этом устоявшемся после «оттепели» кружке, где всю продолжали толковать о том, о чем в других домах и тем паче в присутствии малознакомых людей приходилось умалчивать. А здесь они обменивались самой свежей информацией, горячо обсуждали ее, передавали для прочтения по кругу все, что доставали из «самиздата» и «тамиздата» и даже, как студенты, читали вслух полученные на короткий срок статьи и книжки. Для того, собственно, они и собирались на свои посиделки. Это был замкнутый кружок доверяющих друг другу людей, не нацеленных при том на какую-нибудь активную деятельность вовне. Расходясь, они лишь шутили вполголоса: «Интересно, на сколько лет мы сегодня наговорили?» Имелся в виду срок уголовного наказания за «антисоветскую агитацию», под которую власти могли подвести любой частный разговор. Конечно, они принимали меры предосторожности. У Мильчиных, в трехкомнатной квартире, застольничали в средней комнате, не соприкасавшейся с соседями, у Дуни или у Кортина плотно закрывали дверь в прихожую. И везде убирали или накрывали подушками телефон, соизмеряли свои голоса и громкость магнитофона со звукопроницаемостью стен, пола и потолка. В стране уже полностью восстановилась обстановка всеобщей слезки и подавления свободомыслия.

Шел второй десяток лет после знаменитого оттепелного десятилетия, начавшегося посмертным разоблачением Сталина, когда на свободу вырвался, наконец, дух правды. Но дух этот не мог ограничиться только рамками указанного сверху периода его, Сталина, злодеяний, получившего уклончивое официальное наименование «периода культа личности». Кровь, смерть, страдания миллионов невинных людей, расстрелянных, заключенных в тюрьмы и лагеря за четверть века тирании, побуждали вскрывать истоки и причины всенародной трагедии. Но поборники таких побуждений столкнулись с сопротивлением своих же еще более многочисленных сограждан, поднявшихся на этих самых истоках и основах, кто воплотил их в себе, был накрепко связан с этим «культом», привержен ему. Они были сильны, организованны и в их руках на всех уровнях находился всемогущий аппарат власти. И хотя разоблачение Сталина началось сверху – новым партийным вождем Хрущевым, «оттепель» умело пресекли. Впоследствии, размышляя об этом крушении возникших тогда демократических надежд, Кортин пришел к выводу, что «оттепель» была обречена – общество оставалось еще сталинистским, советский монолит, эта ледяная глыба, насквозь пронизанная и скрепленная насилием, страхом, всеобязательной коммунистической идеологией, подтаяла совсем незначительно, в тонком поверхностном слое. Свержение противоречивого бурнодеятельного Хрущева, стремившегося, по сути, быть в противовес Сталину «добрым царем», обозначило этот обратный перелом. И вскоре вся партийно-государственная, единосущная в стране пропаганда опять

запустила в ход старые испытанные трактовки на чуть подновленный манер. Кортин определил это начавшееся время как «ползучий неосталинизм».

Но дух правды и совести, вырвавшийся на свободу, не смирился, не угас, а тотчас стал претворяться в мощный поток неофициальной «самиздатской» литературы – в нетипографские копии всего того, что не публиковалось подцензурной печатью, в магнитофонные записи не пропускаемых на радио и телевидении песен и стихов. Это рукописное и магнитофонное половодье внутри страны дополнялось просачиванием «тамиздата» – зарубежными изданиями здешних и тамошних авторов на русском языке, а, главное, интенсивным накатом радиопередач иностранных станций, работающих специально для населения Советского Союза. И тогда началось яростное тотальное преследование этого «антисоветского» духа свободы. Снова заработала на повышенных оборотах злобная машина подавления, быстро восстановленная во всей прежней мощи и дополнительно оснащенная по сравнению со сталинскими временами современной электронной техникой. Общий поток свободного человеческого духа был опять загнан в подполье, затем разбит, раздроблен на отдельные очаги и очажки сопротивления, бурлившие большей частью среди интеллигенции, студентов, бывших заключенных. На первом этапе с явными сопротивлениями разделялись методами административного давления, компрометации и общественной травли. А когда доводили дело до судебной расправы, то такие процессы подгонялись под специально принятые статьи уголовного кодекса. Чтобы показать, что социалистическое государство карает лишь хулиганов, туенядцев, уголовников, а не политических инакомыслящих. И еще один способ обезвреживания смутьянов вошел тогда в широкую практику – объявление их психически больными и насильственное помещение в особо назначенные для них «психушки». И в самом деле, какой нормальный человек станет бороться против самого передового и справедливого общественного строя... В отношении же тех твердокаменных, кто оказывался вовсе не по зубам режиму из-за своей мировой известности и завоеванного морального авторитета, стали использовать ленинский прием «выдворения».

Их честная, как говаривала Дуня, компания никак не являлась таким открыто противостоящим с властью очагом. Это была маленькая, скрытая от посторонних глаз и ушей площадка личной свободы, их домашняя площадка вольности из океана свободного духа. Но жить без этой свободы, пусть в таком стесненном ее выражении, они после «оттепели» уже не могли, и это соединило их в одну компанию, за пределами которой каждый из них сам на свой лад приспособлялся и вписывался в окружающую действительность. Подобная домашняя кружковщина сделалась тогда наиболее распространенной формой существования людей, считавших себя интеллигентными. Но Кортин отдавал себе отчет, что по сравнению с теми, кто боролся за свободу активно, они всего лишь «держали фигу в кармане», и не переоценивал ни себя, ни своих сокружковцев.

Раньше в этой компании часто появлялись и две самые близкие и давние, с институтских времен, подруги Дуни, но у одной из них, Фиры, помимо болезней, сопровождавших ее всю жизнь, несколько лет уже болел престарелый муж, а у другой, Гиты, муж умер от инфаркта, и все ее усилия сосредоточились полностью на том, чтобы оберегать себя. Что до двух давних закадычных друзей Кортина, то у первого из них, отец которого был расстрелян в лихобойном тридцать седьмом году, а мать провела свои семнадцать лет в лагерях, теперь появился в доме и занял место наиболее близкого человека натуральный кагэбешник из соответствующего отдела в Гостелерадио, где их друг состоял обозревателем по экономическим вопросам. Второй же друг-приятель, прогрессивный, но преуспевающий газетчик, держался в их троице, как всегда, ближе к радиоэкономисту, и Кортин, все чаще наткнувшись на его неискренность, прекратил отношения и с ним. Разрыв с друзьями молодости он пережил без потрясения – трещина пролегла не вдруг. А главное – у него была Дуня. И скрепилась в эти годы новая компания.

Но сейчас идти в эту свою компанию было ему не вмоготу. Он представил себе раздвинутый стол у Мильчиных, за которым они усаживались установившимся порядком, те же лица,

по новогоднему праздничному случаю в наиболее широком составе, все то же, но – без Дуни. И себя он не увидел за тем столом. Он почувствовал, что не может и не хочет куда-то идти, играть там какую-то свою роль, что-то говорить, поддерживая разговор и скрывая печаль, дабы она не омрачила общее застолье.

Обычно он вступал в дело после Мильчина, который всегда сторал от нетерпения обрушить на них потрясающую, самоновейшую информацию. Кортин был тяжелой артиллерией – он «разматывал» ситуации, анализировал исходные обстоятельства, толковал, докапывался до глубинных причин событий и людских поступков. Его особенно интересовали причины и пружины. Но все это было хорошо, занимательно прежде. В нынешнем его состоянии лучше было никуда не идти, и позвонившему еще раз Мильчину он сказал, что простудился и потому остается дома. Мильчин немедленно передал трубку жене, она у него ведала дипломатическими делами. Но в этом случае Лидии Антоновне все было совершенно ясно, и, не вступая в сочувственные уговоры, она сразу объявила Кортину, что не одобряет его, что он может и должен прийти в компанию. Она, верно, решила воздействовать на него по-мужски и даже высказалась без обиняков, что не следует ему принимать на себя схиму. Кортин опешил от такого ее грубого натиска и хмуро повторял, что простужен. И оттого, что это было для обоих очевидной неправдой, Лидия Антоновна еще более утвердилась в своем неодобрении. Конечно, она пыталась таким способом проявить заботу о нем – чтобы не оставаться ему дома на Новый Год одному. Но он оставался не один, а вдвоем с Дуней.

Несколько лет назад они дважды встречали Новый Год вдвоем у него в Сокольниках. У него в тот момент разладились отношения с компанией. Так выпали им семейные встречи Нового Года. И во время первой случилось смешное происшествие. Поскольку они находились дома одни, Авдотья не очень строго контролировала себя за столом, чем он и воспользовался. Выпив под его отвлекающий разговор чуть больше шампанского, она слегка опьянела, была этим прелестно смущена, какое-то время остерегалась ходить по квартире, и Кортин стал носить ее на руках, и целовать, и подтрунивать над тем, что она обезножила, и грозить, что он эту пьяную женщину отправит сейчас же в каталажку... И следующий Новый Год тоже был хорош, с выдумками, которые он заранее подготовил для нее. Но он видел, что Авдотья тоскует по людям, по компании, что ей нужно их общество, хотя она и не говорит ему об этом. А еще – она была мудрее его, терпимее к людям, умела прощать, она знала крайности его характера и хотела бы их смягчить. И он смягчился, отношения с компанией быстро наладились, они с Авдотьей вернулись туда к общему удовлетворению, и все пошло по-прежнему. Но те две встречи Нового Года он вспоминал потом как особый праздник. Авдотья соглашалась: «Да, миленький, это было очень хорошо. Но и среди близких нам людей тоже ведь неплохо. Не будем замыкаться. Тебе это тем более необходимо».

Подошедший Новый Год подводил под всем этим бытием свою календарную черту. Прожитое отбрасывалось в прошлое. Тем сильнее его тянуло закрепить ту жизнь на бумаге. И в этот день накануне Нового Года он допоздна писал свой дневник.

За полчаса до полуночи он надел чистую сорочку, купленную ему Дуней, сменил домашние туфли на выходные и накрыл для своей одинокой трапезы журнальный столик перед телевизором в маленьком холле-прихожей. Затем он выпил рюмку водки – проводил Старый Год, самый тяжкий год его жизни. Каждое звено в нем оказалось ступенью к концу, вниз, но очевидным это сделалось только сейчас, в целом охвате; а в те дни они двигались по тем ступеням с преодолением и надеждой, со своей верой в благой исход. Не оправдавшейся верой...

Он включил телевизор. Диктор дочитывал новогоднее поздравление властей своему народу, и на экране возник огромный циферблат кремлевских курантов. Кортин налил шампанское в поставленные два бокала – ей и себе. Эту бутылку он покупал загодя по ее велению, как составную часть их вклада в предстоящую встречу Нового года у Мильчиных. Тогда, в начале ноября, после еще одного курса химиотерапии, у них было почти три недели надежды.

И он поверил, что процесс остановлен, достигнута прочная ремиссия. В действительности же эта химия была кратковременным медицинским камуфляжем, обернувшимся угрожающим изменением состава крови; причем врачи знали о неизбежности такого оборота, но применяли этот препарат по имевшейся у них инструкции – для собственного профессионального успокоения и обнадеживания больных и их близких. Не могла же передовая советская медицина признаться в своем бессилии, даже перед раком.

Под полуночный бой курантов, возвещавших наступление Нового 1979 года, он выпил свое шампанское, глядя на бокал Дуни и думая о том, что здешнее летоисчисление уже потеряло над нею власть: она не зависела более от времени суток, дней недели, времен года, была вне земного торопления, здешней суеты, маеты, мелкости. Но, должно быть, по-прежнему принимала эту жизнь, говоря привычным языком, близко к сердцу, держала в своей душе. И оставалась с ним, в нем. Ж и в и! – написала она ему в своем последнем письме-завете, зная наперед, как он будет убит ее смертью. Это письмо, написанное за десять дней до конца, когда перед нею во всей неотвратимости разверзся тот конечный обрыв, было не о себе, не о своей смерти, оно было о нем, о его жизни – молением и напутствием. Она знала, что она есть для него. Но в том-то, думал теперь Кортин, и заключается трагедия любви в здешней, земной жизни, что приходит неизбежный момент, и один из любящих должен первым отдаться своему кресту и, оставляя другого, понести этот крест на свою Голгофу.

Он сидел, как обычно, в кресле справа от журнального столика, убрав звук телевизора и поглядывая на другое кресло, слева, в котором всегда сидела Дуня. И сейчас он ощущал ее присутствие рядом с ним, хотя кресло было пустым. Наверное, ее присутствие не связывалось теперь с какой-то определенной вещью или местом. Потом он выпил еще бокал с мыслью о том, что если ему жить дальше, как велела Дуня, то пусть Бог даст ему на это силы, и пусть он, Герберт Кортин, выполнит все, что она написала ему в своем последнем письме.

Около часу ночи он позвонил Мильчиным, чтобы поздравить «честную компанию» с Новым годом, пожелать им всем здоровья и счастья. Подошел как раз сам Лазарь, но не узнал его с первых слов – был возбужден, хозяин застолья, захвачен тем круговоротом, да и выпил уже. Говорили они недолго и без какой-либо сердечности со стороны Мильчина, мысли его были сейчас далеки от Кортина, а, может быть, и он, как Лидия, также «не одобрял» его. В трубке слышались возгласы, шум, смех – тамошний поезд шел полным ходом не только без Дины, но и без него, Кортина.

Он включил звук телевизора, в котором на всю страну передавался один и тот же заранее подготовленный и заснятый новогодний «Голубой огонек», происходящий будто бы в эту самую ночь. На экране вскоре появилась поэтесса Беллочка Ахмадулина, их с Дуней любимица. Затем, как по заказу, выступала актриса Татьяна Доронина, тоже Дунина симпатия. Дуня любила ее за женственность, искренность, певучесть, и была огорчена, когда та неудачно снялась в роли женщины-ученой в надуманном многосерийном фильме. Играть ей там было нечего, она лишь многократно переодевалась из серии в серию, как манекенщица, и Кортин осудил ее тогда за измену самой себе. Дуня молча с ним соглашалась – во имя объективности, но из сердца не изгоняла, и Кортин, глядя на нее, напомнил себе пушкинские слова: «Там нет истины, где нет любви». Потом еще пела Шульженко, которую по своему армейскому прошлому продолжал почитать Кортин, а Дуня не оспаривала то хорошее, что ему виделось в ней, хотя сама относилась к этой исполнительнице прохладно.

Он заметил за собою: что бы он ни видел, ни вспоминал, ни думал сейчас, он видел, вспоминал, думал и за себя и за Дуню, смотрел на все вокруг и ее глазами, оценивал и ее оценками. Он чувствовал ее присутствие в себе. И в то же время, глядя на экран телевизора, он осознавал, что все зрелище проходит уже без ее участия – без ее живого слова, отклика, улыбки, ответного поворота головы к нему, воспроизводимых теперь только в его душе. А сама жизнь шла без нее. Может быть, она и видела эту их продолжающуюся земную жизнь откуда-

то со стороны, но никакого прямого участия в ней не принимала. Не могла. Только через те души, в которых она здесь оставалась. Через его душу. Он вспомнил, как говорил ей о своих умерших отце и матери – что они живут в нем, что они живы, пока жив он, ибо одна душа, став бестелесной, может продолжать свое здешнее существование только в другой, близкой и родной душе живущего человека.

Так он просидел в своем кресле до утра, пока не закончилась передача. Он никому больше не звонил, и никто в эту новогоднюю ночь не позвонил ему.

Его поднял с постели звонок почтальона в дверь. Из Ереванского издательства возвращали его фотографию, которую он недавно – в момент обнадеживающего просвета в болезни Дуни – послал туда вдогон с просьбой поместить в своей книге. Книга издавалась в переводе на армянский язык, и он полушутя мотивировал эту тщеславную просьбу тем, что хотел бы иметь зримое подтверждение своего авторства для друзей и знакомых, не умеющих читать по-армянски. Заведующая редакцией сообщила, что книга уже пошла в производство и вставлять портрет поздно. Кортин подумал, что смогли бы, наверное, и успеть, если бы постарались. Но все равно подобный отказ не так уж и плох – лучше, чем возврат из журнала его новой повести год назад, тоже в январе, в самый день его рождения. А нынешнее известие могло считаться даже новогодним подарком.

Выпускаемая книга была делом счастливого случая: во время поездки в Болгарию, в Международный дом отдыха журналистов, он познакомился с директором Ереванского издательства советской литературы, и тот широким восточным жестом пообещал переиздать книгу его армейских повестей. Несколько экземпляров ее Кортин захватил с собою для презента болгарским журналистам, к которым его адресовали в Софии московские знакомые. Подарил и тому директору – по образовавшейся между ними взаимной приязни и не без авторского расчета. Расчет оправдался. Директор заявил, что пустит его книгу по юношеской редакции. Она, как позднее догадался Кортин, подходила для «военно-патриотического» раздела в их издательском плане, и директору было с руки заполнить одну из тех обязательных граф повестями, апробированными в самом Воениздате в Москве. Так что не только сердечное расположение двигало им. Сработала советская издательская схема плюс знакомство двух людей, оказавшихся вместе на Солнечном берегу. А у него самого уже сгладилась острота переживаний в связи с той мясорубкой, через которую пропустил воениздатовский редактор эти повести, особенно последнюю, «заполярную». Он избегал перечитывать покалеченную повесть, а всю книгу воспринимал теперь отвлеченно, как необходимый и столь желанный для пишущего человека «факт издания». Книга на армянском языке должна была стать еще одним таким фактом, дополнительно престижным из-за перевода на другой язык.

За звонком в дверь последовали телефонные звонки. Из его компании дала о себе знать Нина Григорьевна, а за нею в трубке прозвучал зычный голос Александра Кованова, состоявшего с ним и с Ниной Григорьевной в одном профессиональном комитете литераторов. Кованов был сыном покойного маршала и дважды Героя, ставшего знаменитым в годы Великой Отечественной войны, а после ее окончания посаженного генералиссимусом в тюрьму. Знакомы они были несколько лет, но сближение произошло прошлой весной, когда Кованов, выйдя вместе с Кортиным после какого-то их собрания, предложил завернуть в его комнату в старой московской коммуналке. Комната эта досталась ему от очередного развода и размена, но постоянно он здесь не находился – жил у новой жены в отдельной квартире. Он явно искал профессионального общения, для того и зазвал к себе Кортина, присмотревшись исподволь к нему в их комитете. Для начала Кованов прочитал кое-что из своих этюдов о временах года, которые со скрипом пробивались в печать из-за естественной связи с церковными праздниками – Рождеством, Крещением, Благовещением, Успением, – и потому он подавал их под видом «народного календаря». Затем, удовлетворенный завязавшейся беседой, он покопался где-то в углу за этажеркой и достал страницы задуманной им книги об отце. Он намеревался

написать роман и рассказать в нем правду о самой войне, как она велась из Ставки Верховного: его отец, будучи командующим родом войск, являлся одновременно представителем Ставки на разных фронтах и входил в круг главных военачальников Сталина. Писать подобную книгу, как он ее задумал и начал, можно было только «в стол» – тайно и без надежды на здешнее опубликование. Или заведомо обрекая себя на гонение со стороны родного государства, ежели передать рукопись на Запад или пускать в «самиздат». У Кортина тоже имелись свои секретные наброски, частично отделанные и показанные Дуне, прочитав которые она с подъемом воскликнула: «Вот это то, Гарь! То самое...» Так что слушать Кованова было ему интересно вдвойне. Прочитанные вслух куски безусловно могли стать настоящей прозой, и авторская нацеленность была ему близка. Однако и недостатки первого написания, вытравляемые только упорным переделыванием и многократным переписыванием, тоже были очевидны, и он без реверансов указал на них. Это еще более притянуло к нему Кованова. Но летом Кованов жил в деревне на Оке, арендуя крестьянский дом-пятистенник, потом Кортин всю осень почти не бывал у себя в квартире, и связь между ними прервалась.

Кованов звонил с новогодними поздравлениями, а узнав о постигшем его горе, тотчас пригласил к себе – пообедать, побыть вместе. Кортин сперва решительно отказался – ведь не пошел даже в собственную компанию. Но под конец разговора неожиданно для себя согласился и, посидев за своими записями в дневник, поехал к Ковановым, несмотря на тридцатиградусный мороз, в неближний свет, на окраину города, где они жили в районе-новостройке. Он поразился тогда еще одному завету Дуни: *З а в е д и н о в ы е з н а к о м с т в а – т ы э т о с м о ж е ш ь, е с л и з а х о ч е ш ь*. Неужели и такой оборот она предусматривала, когда писала ему свое последнее письмо?

Кованов был высокий, импозантный мужчина с черными бровями и седеющей броскими пядями шевелюрой, а жена его, которую Кортин увидел впервые, была, напротив, полной и коренастой, с широким мясистым лицом и напомнила ему комендантшу Дуниного дома. За обедом они старались его поплотнее накормить, обогреть, отвлечь от горя. Они совсем не знали Дуни, и от этого ему было даже легче говорить с ними. Настроены они были к тому, что делалось в стране, очень критически и радикально, ратовали без колебаний за «новую революцию», дабы выкорчевать всю разросшуюся скверну. Эволюция никак их не устраивала, только насильственное свержение, как в семнадцатом году. Но Кортин не спорил, больше слушал, не разжигая привычные дебаты. Для него было важно сейчас то, что он сидел за столом с этими по-доброму отнесшимися к нему людьми и чувствовал их человеческое тепло, а не то, что они высказывали идеи, с которыми он был совершенно не согласен и которые они с Дуней давно отвергли. Он терпимо отнесся даже к тому, что жена Кованова, преподавательница техникума, решительно судившая обо всем вокруг, не читала лучших нынешних писателей, которых чтит Дуней, – ни Федора Абрамова, ни Быкова, ни Трифонова, ни Распутина. В конце концов, это была не его забота, а Кованова. Ему вспомнилась тогда собственная формула: каждый в этой жизни смотрит «свое кино». И все общественные пристрастия, мнения, познания, разногласия – все это вдруг отошло для него в тот момент на второй план.

Посещение Ковановых ненадолго отвлекло его от боли в душе. Да он и метнулся к ним, чтобы как-то унять, рассеять эту боль. Но боль нарастала и захватывала его все неотвратимее. Она была в нем, а он весь – в ней. Еще в Старом году он приступил к самой важной записи в своем дневнике – о последних трех днях жизни Дуни и одном дне потом, и продолжал вести ежедневные записи. Он ничего не желал скрывать от настоящего и будущего суда собственной совести и описывал все подробно и точно. Только правда, какую бы тяжелой она ни представлялась сейчас, могла дать ему возможность жить в будущем. И он целыми часами закреплял на бумаге происшедшее. Но память его не отключалась и после того, как тетрадь вбирала в себя очередную запись. Исповедь не снимала, как должно бы, камень с сердца и не облегчала переживаний, она даже обостряла их.

Он все думал и думал, чего он не сделал, чтобы спасти Дуню. Мысль его прикованно вертелась вокруг одного и того же воспаленного очага, крутя и перемалывая всю душу. Это было самозагонное верченье в беличьем колесе, он понимал это, но не мог, да и не хотел остановить себя в своем самообвинении и самоистязании. Все, что было сделано им хорошо и правильно, он признавал, но отставлял в сторону, как само собой разумеющееся. Душа болела и терзалась всеми упущенными возможностями, ошибками врачей и их бездушием, его собственным поздним прозрением и ничтожными мерами. Его язвило даже воспоминание о том, с каким смятенным трепетом и надеждой говорил он со всеми теми врачами, в коих было больше от медицинских чиновников, чем от истинных врачей. Недостаточная компетентность покрывалась у них уверенно-непререкаемым видом. Вид этот смягчался, становился более участливым и обещающим, когда они получали от родственников больных свою «вторую зарплату» – деньги, подарки. Это сделалось широко утвердившейся практикой: государственные больницы с государственной оплатой труда исподти действуют «теневым» способом, как частные. Однако на судьбу больных эти деньги и подношения влияли слабо – давали многие, а возможности врачей в общедоступных больницах, как и квалификация их самих оставались все теми же. Как и применявшиеся для общего пользования дешевые и устаревшие лекарства. О новых же лекарствах, импортных, дефицитных, не поступающих в «общую сеть», врачи имели строгие указания не сообщать больным и их близким, дабы не возбуждать нежелательные страсти. И в медицине правил бал всесильный в стране Дефицит – дефицит больничных мест, спасительных лекарств, современной аппаратуры, врачебной квалифицированности и совести.

Все это открывалось ему слишком медленно. Он словно видел и не видел действительность. По традиции, с детства, он был настроен на благоговейное отношение к профессии и самой личности доктора-исцелителя, и всякий раз во время Дуниной болезни он ожидал встречи с таким врачом, добросердным и всеведущим. И такие врачи были – как тот хирург, которая классно сделала Дуне первую операцию и провела послеоперационное лечение. Но встречались они в поликлиниках и больницах все реже, теряясь в массе неискренних и непорядочных, и старания их сковывались этой средой и незавидными условиями работы. А тех, других, эти условия даже устраивали, потому что персональная ответственность и личная репутация врача подменялись здесь круговой порукой, освобождавшей заодно их и от старозаветных правил врачебного поведения.

Теперь, запоздало, Кортин имел достаточное представление о советском врачебном племени и о порядках, в которых оно обращалось, завися от них и подпирая их собой. Теперь он знал наверное, где, когда была допущена врачебная халатность, повлекшая за собою роковые последствия. А тогда он, наивный слепец, радовался, что после второй операции Дуне не назначили ни облучения, ни химии. Того облучения, которое после первой аналогичной операции дало им восемь лет полноценной совместной жизни. Знал он теперь и то, какие еще известные и используемые в больницах препараты оказались не примененными, а были ей показаны. Сейчас он был уверен, что даже теми средствами, которые все же имелись в распоряжении врачей, – если бы их своевременно выбирать из всего широкого спектра и умело комбинировать – возможно было эффективное лечение...

В его мозгу прокручивались все врачебные недоделки и упущения, ставшие для него теперь столь очевидными. Мысль его опять зацепилась за гормоны, упомянутые в разговоре с ним знакомым консультантом в той самой больнице, где лежала Дуня. Эти гормоны были бы благотворны для нее во время летнего, повторного, курса химиотерапии и сыграли бы роль спасительной передаточной шестеренки. Они, если бы и не излечили совершенно, то нейтрализовали бы болезнь на несравненно больший срок, нежели назначенная хирургом для профилактики заведомо неэффективная химия, а в этот-то благоприятный период как раз подоспело бы и добытое Лозовым чудодейственное средство, и продление жизни превратилось бы в спасение. Такой ход событий виделся ему теперь задним числом. Но никто не назначил ей гормо-

нотерапию, применявшуюся в химиотерапевтическом отделении, – она была «хирургическая» больная и лежала, как и после операции, в отделении у хирургов... В который раз Кортину представлялся тот хирург, заведовавший отделением, – оперировавший Дуню и привычно, как вполне естественное дело, взявший за операцию деньги. В разговоре с Кортиным он особо и не скрывал, что они, хирурги, не верят в эту химию, но говорилось это вскользь и для пущего подтверждения собственного престижа относительно терапевтов. Впрочем, по поводу той химии, которую он применял по установленному инструкцией трафарету, его скептицизм был обоснован. А вот другой он не знал и не интересовался, обезопасив себя произведенной формальностью. Кортин помнил, как жалко выглядел этот местный мэтр перед молодым профессором из Онкологического центра, приехавшим сюда для консультации. Он, пожилой человек, державшийся в своем диспансере законодателем, вдруг превратился в мальчишку-школьника, не знающего урок, когда молодой длинноногий, баскетбольного роста профессор, восходящий гений, спросил его, заведующего хирургическим отделением, применяет ли он такие-то и такие-то препараты, практикуемые и рекомендованные Центром. И он, здешнее светило, порозовев, только кивал неопределенно своим крашеным коком. Нетрудно было догадаться, что о большинстве быстро перечисленных препаратов он не знал вовсе или слышал мельком, не посчитав нужным для себя, по своей хирургической принадлежности, ознакомиться с ними профессионально. Кортин наблюдал эту сценку, стоя невдалеке в коридоре. Да что от него, корыстолюбца, было ожидать, коли даже их знакомая врач-консультант этой же больницы, седая добропорядочная женщина со стажем фронтального хирурга, с помощью которой, как великого блага, удалось договориться, чтобы Дуню оперировал этот именно хирург, – сама упомянула про столь нужные «гормончики» лишь поздней осенью, при вновь наступившем резком обострении, когда применение их стало бесполезным...

По всему этому позднему его разумению выходило также, что он допустил жестокий просчет, приняв на безусловную веру отрицательное мнение о построенном в Москве в те годы Главном онкологическом центре, который возглавлял академик Блохин. Но мнение это высказала наиболее информированная и многоопытная в медицинских делах Ирма Яковлевна Розовская, из подруг Дуни старшая по возрасту и весьма ею почитаемая, к которой и Кортин, вслед за Дуней, относился с заведомым пиететом. Ирма Яковлевна веско заявила, что там, у Блохина, безжалостны к больным во имя своей науки, вернее, во имя того результата, который стремится во что бы то ни стало получить Блохин в престижных целях, и что весь этот колоссальный комплекс называют «Блохинвальд» – по аналогии с фашистским Бухенвальдом – из-за большой смертности больных в проводимых массовых экспериментах. Конечно, этот Центр, щедро финансируемый властью, призван был доказать приоритет советской науки в борьбе с раком и тем подтвердить заодно преимущества социализма вообще. Так что для руководства и ведущих специалистов Центра открывался широкий путь к почетным званиям, орденам, премиям, заграничным поездкам и материальным благам. Вся эта смесь корысти, тщеславия, идеологии и политики была полностью в стиле установившегося времени. И Кортин отказался от попыток искать ходы, чтобы определить туда свою Дуню. Он не мог допустить ни экспериментов над нею, ни бездушного к ней отношения. И сам тоже почувствовал облегчение, поскольку не надо было заниматься тягостным для него делом – обивать пороги, просить, требовать, «вступать в контакт с гнусной системой», по выражению одного знакомого литератора. Они говорили тогда втроем – Гита, Ирма и он – ранней весной, уже зная от того хирурга, сделавшего последнюю операцию, и мрачный диагноз, и неутешительный прогноз-приговор. Но тогда у них были еще надежды на домашнее лечение чудодейственными травами, милиллом и приватно применяемой вакцинотерапией, о которой как раз стало им известно. А из лечебных учреждений он так и ограничился городской больницей-диспансером, в то время как именно в Онкологическом центре активно применяли новейшие химические препараты и различные способы облучения. Лечебные возможности Центра, его научный уровень были несравнимы

с возможностями и уровнем городской больницы, в которой лежала Дуня и которая теперь представлялась Кортину каким-то второразрядным стационаром, глухим врачебным закоулком, куда с тех высот спустился однажды, как вестник, молодой длинноногий профессор с обликом гения. И он казнил себя: надо было не избегать этот Центр, а, напротив, пробиться туда и использовать во благо все имевшиеся там возможности.

По сути дела его взаимоотношения с медициной долгое время сводились к пассивному упованию на врачей и самозабвенному молению о Дуне – «Да минует ее чаша сия!» – вместо трезвого расчета и хваткого умения организовать для нее наилучшее лечение. Вместо того, чтобы цепко добиться от медиков всего достижимого, что только они были в силах совершить. У него не оказалось ни хваткости, ни цепкости, одно никчемное прекраснодушие. И во всем происшедшем с Дуней он винил теперь себя.

Средоточием охватившего его душу самообвинения был его собственный отказ от немедленного применения в домашних условиях добытого с помощью Лозового сильнодействующего препарата. За это брался частным образом заведующий химиотерапевтическим отделением из другой больницы, не той, где лечилась Дуня. Видя, как скоротечно прогрессирует ее болезнь, Кортин умолял его срочно положить Дуню к себе в отделение, но тот умело уклонялся, приоткрывая ему лишь один путь – делать эти внутривенные инъекции на дому. Несмотря на всю вероятность острых побочных явлений, тем более опасных при крайней истощенности физических сил больной. Там было немало деталей, которые вызвали у Кортина сомнения в добросовестности сделанного ему предложения. И на следующий день после их переговоров, держа в руках портфель с только что полученным исцелительным препаратом, уверенный, что – вот он, эликсир жизни, добыт и его Дуня спасена, Кортин примчался в городской онкологический пункт, где распределялись места на стационарирование больных. Распорядитель этого пункта, сразу догадавшись, кто предложил Кортину свои частные услуги, неодобрительно усмехнулся и негромко, но твердо обронил совет – не связываться с ним. Он оформил заявку и заверил Кортина, что в понедельник его жену обязательно положат в ту больницу, где она оперировалась и наблюдалась, и все будет сделано, как полагается, солидно, в стационарных условиях и в химиотерапевтическом отделении, как о том и просит Кортин. Главное, что имеется этот дефицитный, вернее даже, недоступный препарат.

Была пятница, конец недели, приходилось делать выбор, и Кортин, избегая одного риска, пошел на другой – решился подождать эти два выходных дня, всего два дня, до понедельника. Но перед тем понедельником, на который он уповал, стояло воскресенье. Была ночь с субботы на воскресенье, в которую Дуня умерла. Ночь торжества ее духа над распадом тела и последнего ее проявления себя такой, какую она была всегда. Ночь его поражения.

И теперь, отменяя прочь все казавшиеся тогда существенными доводы, по которым он не доверил свою Дуню, своего ребенка, в предлагавшиеся руки, Кортин твердил себе одно – что упустил в ту черную пятницу последний шанс спасти ее. Тут была его прямая вина, не ошибка, и никакие обстоятельства не могли ее оправдать или смягчить. Это было его проклятие.

И снова шаг за шагом он волочил себя по недавнему прошлому, с беспощадной ясностью видя, почему все произошло так, как произошло, а не иначе – как могло и должно было произойти. Опять вспоминались ему многочасовые ожидания-моления на больничных лестницах во время Дуниных операций, его трепет и боль, сопровождавшие ее болезнь. И снова терзало позднее прозрение: переживаний было много, управления обстоятельствами – ничтожно мало. Одно бесполезное страдание. Пассивность и иллюзии. Упование. И он судил себя сам, и выставял для возмездия еще перед кем-то, кто находился над ним, перед Вышней силой, управляющей их людскими судьбами.

В какой-то момент он вдруг осознал, что доискивается до совершенных ошибок с целью их исправить и заново переиначить ход событий, все еще чая возвращения своей Дуни в этот мир, надеясь и предполагая такую возможность. Это осознание не испугало его близостью

сумасшествия, но отрезвило – ведь одновременно он понимал, что этого не может произойти. Оттого и тосковал с такой безысходностью. И тут у него мелькнула догадка, что стенающая душа его ищет, наверное, выход для своей смертельной тоски, а воспаленная память как раз и подает такой выход, образуя у него комплекс вины. И, значит, если бы у него не оказалось одних тяжких грехов, нашлись бы другие?! Но тогда это не выход, а, напротив, уход в болезнь, слепой ответ пораженной несчастьем психики...

Он попытался отнестись к себе объективно: нельзя ему, не медику, брать на себя обязанности врачей и винить себя за пороки окружающей действительности. Когда все берешь на себя, так и виноват становишься во всем. Большинство людей, у которых умирают близкие, так не поступают и им легче – «врачи виноваты» или вообще «Бог дал, Бог взял». Но ни такой самосохранности, ни хитрого приспособительного неведения, ни голого физиологического объяснения мук совести он не мог для себя принять. И внутреннее судопроизводство вспыхивало с новой силой.

Он судил себя и отдавал себе отчет в ничтожности своего суда: Дуни-то нет, нет и никогда уже не будет ее на Земле, не будет ее улыбки, ее жеста, слова, дыхания, ее телесного присутствия, самой ее жизни и живой совместности с ним. Нет ее. Ушла из этого мира. А он остался здесь. И не побежден в борьбе, что было бы его жребием, одолением его извне, но – потерпел поражение сам, по своей вине, от самого себя. И потому нет ему прощения, нет и не будет ему на этом свете успокоения.

Душа болела все сильнее, и перед ним встал угрожающий вопрос: как справиться с собой, остановить саморазрушение. Формулы вроде «Переломи себя» или «Переделай себя» были для него неприемлемы. Они с Дуней давно уже критически относились к такого рода советам, проистекавшим от господствующих тезисов «покорения природы» и «переделки общества». «Допокорялись!» – бросала Дуня в сердцах, когда слышала эту трескотню по радио и телевидению.

Чтобы устоять, следовало не ломать, а опереться на себя, нащупав в душе островки крепкой почвы. Он стал говорить с собою поспокойней. И прежде всего сказал себе, что он ни от чего не отрекается: у него все записано, все описано, ничего не утаено, и он еще вернется к этой своей летописи. Но сейчас, если он намеревается жить дальше, у него только один выход – на время отсечь происшедшее, прекратить мучительное перемалывание самого себя. Дуне он этим не поможет, ее не возратить, а это единственное, ради чего он немедленно принес бы себя во искупление, в обмен, в жертву, в благодарность, во что угодно, лишь бы она жила... Что же ему делать теперь? Он должен исполнить ее Заветы ему. П о с т а р а й с я п р и н я т ь в с е с п о к о й н о. Это тоже были ее слова, сказанные в последнем заповедальном письме. Но сейчас ему надо было принять не только ее смерть, а и свою жизнь – как она есть. Без надежд и иллюзий, но и без прибитости, слабости, зависимости от кого-либо. С достоинством и стойкостью – ведь они свойственны ему. И надо употребить все свои жизненные силы на работу, которая в нем задана, бьется, требует делания. Это все, что у него осталось и что также завещала ему Дуня.

Его поддержал телефонный звонок Фиры, длительное время находившейся в больнице, где ей поставили ритмоводитель сердца. Из подруг Дуни она была наиболее симпатична Кортину, и он стал подробно рассказывать ей о последних днях Дуни, о похоронах и поминках. А Фира поразила его своими вопросами, в которых открылось, насколько глубоко, сокровенно она чувствовала, знала, понимала душу своей Дины. Потом она заговорила о всей прожитой Дуней жизни – о том, что было в этой жизни хорошего, интересного, о ее любви к Кортину, о полноте ее жизни и счастье, пришедших к ней с их любовью. И, как и Кортин, называла ее теперь Дуня. То, о чем говорила Фира, имело для него особенную важность и было связано со всею невзгодной судьбой Дуни. На судьбу эту наложила свою обездоливающую печать перенесенная в раннем детстве болезнь, после которой у девочки остался на всю жизнь неисправимый физический недостаток – она была горбатой. Горб был небольшой, но он был, деформировал

ее фигуру, а вместе с тем и предопределял ей жизнь бессемейной одиночницы. До появления в этой жизни Кортина.

Все, что говорила ему Фира о Дуне, пронизывала нежная и совершенно бескорыстная любовь. И Кортин, сравнивая, подумал потом о Гите и Ирме, которые вместе с Фирой образовывали как бы особый, самый близкий и давний круг Дуниных подруг. Несомненно, Гита и Ирма также очень любили свою Диночку. Но они, допуская Кортин, привыкли считать ее со всем богатством ее души и телесной ущемленностью как бы своим достоянием, данным им в ответ на их преданную любовь к ней. И оттого они подсознательно ревновали ее к нему, к ее образовавшемуся счастью и даже, быть может, безотчетно завидовали той полноте жизни, которая пришла к ней с его появлением и чего они сами в той или иной мере были лишены. Видимо, здесь крылась и одна из причин их поведения осенью, когда они, обе не работающие, не обремененные семьей женщины, ничем не помогли ему в домашнем уходе за Дуней и бытовых делах в те самые трудные месяцы. И почему отделились от него теперь, после похорон. Впрочем, причин было много, а связывала их только Дуня.

Разговор с Фирой принес ему неожиданное облегчение. Подняло дух признание ею Дуниного счастья с ним. Это признание утишило еще одно его мучение из-за того, что он так и не предложил Дуне стать его «законной» женой, не доставил ей этого женского удовлетворения и радости, процеплявшись за свою пустопорожнюю формальную независимость.

Поднявшееся настроение подтолкнуло его приняться за ответное письмо Дуниному отцу. До недавнего времени это был еще вполне бодрый человек, приезжавший несколько лет подряд в Москву из своего районного городка на Северном Кавказе повидаться с дочерью и проконсультироваться со столичными врачами насчет своих побаливающих ног. Был он высок, широкогруд, с наголо бритой крупной головой и держался прямо, сохраняя облик и повадку кавалериста времен Гражданской войны, а заметно сдал год назад, когда приезжал в последний раз. Поэтому телеграмму о смерти Дуни Кортин послал на имя его жены, которая была много моложе, чтобы его подготовили к этому известию. Но Андрей Александрович тотчас позвонил сам и сообщил, что на похороны вылетает сын Валерий. В его голосе, басовитом и твердом, не слышалось ни подавленности, ни тем более слезливости. Он словно не допустил в себя разрушительное горе. Проявились, должно быть, его солдатская закваска и самозащита возраста.

После похорон отец Дуни прислал уже два письма, написанных знакомым Кортину размашистым почерком и часто без запятых. Кортин перечитал первое:

«Гарик милый!

Итак неминуемое свершилось.

Свершилось так неожиданно для меня, что не хочется верить. Еще 7.XII с.г. Дина писала что ложится в больницу, так утешала меня, когда сама уже знала что ее дело уже безнадежно и она думала не о себе, а о моем состоянии. Теперь мне понятно что и Ваше последнее письмо было продиктовано тоже ею. Она всю свою жизнь думала не о себе а о своих близких.

Я не перестаю удивляться тому что жизнь побаловала ее встречей еще с такой же большой душой как Ваша.. Как Вы одинаковы душой, это даже высказал и Валера и в этом было и Ваше и ее благополучие, несмотря на все жизненные сложности и препоны. Вас я не в состоянии отблагодарить (вернее благодарить) за Вашу душевную отзывчивость к этому, так обиженному судьбой человеку. Ведь с раннего детства она страдала и чем дальше тем сильнее и казалось бы это должно было озлобить ее но было обратное. Она всех одаряла своей улыбкой и каждому старалась быть полезной. Ее все любили кто только ее знал. И вот ее нет. Для меня это самая большая утрата. Ближе уже нет никого.

Вы, я знаю, старались ее оберегать и помогать во всем. Знаю что все что у ней есть – это только благодаря Вам. И я рад что она смогла все оформить юридически. Я Ваш должник и не успею и не смогу ничем рассчитаться с Вами. Прямо Вам скажу что Вы у меня второй Исай, это у меня высшее мерило человека, я рассказывал Вам о нем. Его я любил (и взаимно)

и жили мы с ним ближе чем со всеми кровными. Теперь у меня одно желание это еще раз повидать Вас. Самочувствие достаточно скверненькое но хочется надеяться что мы еще увидимся.

Что касается моих квартирных планов, то вряд ли мне удастся самому поехать в Москву, а без этого по письмам ничего не получится.

Благодарен за все бесконечно.

Ваши А. Никольский».

В следующем письме, написанном всего через пять дней, старик уже слал Кортину новогодние поздравления, а также лучшие пожелания здоровья и окончания всех тягот и хлопот, доставшихся ему в истекшем году. Тут же он зло честил невестку, прилетавшую на похороны, которая, по его словам, хитростью заарканила его сына Алексея, всегда была подлюкой и теперь тоже строила планы получить все наследство после Дины для своих сыновей, если бы не оказалось завещания по всей форме, и уговаривала Валерия действовать совместно. А в конце этого письма он с сердечным участием говорил о том, что Кортину нельзя жить без любящей женской руки, давал ему свой совет жениться и чем скорее, тем лучше, от души желал найти спутницу, равную Дине и ему, Кортину, и этим порадовать его. Старик, конечно, исходил из практической жизни – он сам долго мыкался вдовцом после смерти первой жены и теперь проявлял заботу о Кортине. И, должно быть, считал также своей обязанностью, как отец Дуни, снять с него какие-либо ограничения в устройстве новой личной жизни. Письмо это Кортин воспринял как неизбежную тщету жизни, в которой обращаются люди. Но одно слово, относившееся к Дуне, его неприятно царапнуло. Говоря о долготерпении и стараниях Кортина облегчить ее тяжелую участь, старик употребил выражение «Ваши опекаемой». Это было старомодное слово, вполне естественное в его лексиконе. Но для Кортина здесь содержался намек, вернее, констатация того положения, что Дуня не была его законной женой. И хотя отец ее написал так безо всякого упрека, это бередило ему душу. А само слово – «опекаемая» – выглядело обидным, уничижительным и никак не могло прилагаться к Дуне...

Он взялся за обстоятельный ответ и набросал по обыкновению черновик. Потом переписал все письмо начисто:

«Дорогой Андрей Александрович,

должен сказать Вам, отцу Дины, что ближе и дороже ее, моей Дуни, у меня никого в жизни не было. Смерть Дуни самое большое и неизбывное мое горе. Горе это усиливается мучительными мыслями – а все ли я сделал, чтобы спасти ее? Что касается заботы, поддержки, любви, то тут, может быть, упрекать себя не в чем. Но вот относительно нашей передовой медицины терзают сомнения, мне все кажется, что можно было бы, если и не совсем вылечить, то значительно продлить Дуне жизнь, чего добиться я не сумел.

Дуня была для меня всем – и любимой женой, и другом, и моим ребенком, и матерью. Думаю, так же и я был для нее. Души наши были слитны, во всем полное согласие. Я всегда любовался ею, все в ней мне нравилось, все было мило, по мне, по сердцу. А она, помню, на мои нежные слова как-то ответила с улыбкой народной пословицей: «Вот – не по хорошу мил, а по милу хорош...» И была очень довольна этим подтверждением народной мудрости. Теперь у меня исчезла вся основа, не стало стержня в жизни. Вот что она была для меня. Так что слово «опекаемая» к нашей Дине не подходит. Она всегда – даже когда тяжело болела – обладала чувством собственного достоинства, оставалась собою, и заботиться о ней было для меня потребностью, радостью и счастьем. И все друзья относились к ней с большой любовью. А про себя я бы еще сказал, что мне хотелось служить ей, такую нежность я к ней испытывал. Да что говорить... Сейчас куда ни шагнешь, к чему ни прикоснешься, о чем ни подумаешь – везде слышу голосок моей Дунечки, вижу ее образ.

Природа одарила ее светлой и святой душой, добрым, любящим самое жизнь сердцем, тонким умом и стойким, сильным характером, который был в то же время и мягким, терпи-

мым к людям, хотя подлость, нечестность она никогда не могла принять. А я видел в ней еще и чудесную детскость души. Эта детская чистота, непосредственность, бесхитрость остались в ней на всю жизнь. И потому я относился к ней так же, как к любимому ребенку.

Вы очень верно написали о том необыкновенном явлении ее души, в которой не образовывалось ни ущемленности, ни озлобленности, ни даже просто защитной хмурости вследствие той перенесенной в детстве болезни, а – лучезарная доброта к людям, мягкость в обращении с ними. При всем том, что она всегда умела себя поставить, была немногословна, внешне весьма сдержанна. А мне посчастливилось испытать на себе и ее женскую любовь, и я откровенно признаюсь Вам, что ее нежность была равновелика ее доброте.

Жили мы с Дуней хорошо – и весело, и согласно, и интересно, полной жизнью. И болезни никогда не одолевали ее душу, не брали верх над нею. Она стойко их переносила, и как только делалось ей легче, сразу же начинала, вернее, продолжала свойственную ей полноценную жизнь. В этом также сказывались ее характер и душа. Помню, когда ей сделали вторую операцию, она через день после выписки из больницы домой изъявила желание пойти вместе со всею нашей компанией на интересный спектакль, на который были у нас заранее куплены билеты. И в прошлом году, только вышла она после третьей операции, я повез ее подобным же образом на гастролировавший французский балет – как она сама того захотела, и осталась она очень довольна, хотя физически такой поход был ей еще очень нелегко. Она всем нам давала пример человеческого поведения и любви к жизни.

И я могу только быть благодарен Судьбе за то, что у меня в жизни была моя Дуня. Она и останется во мне, со мной навсегда. Да, все это так – когда пишешь письмо, когда забываешься и думаешь о ней, как о живой, и прошлое неразрывно продолжается в настоящее, и в этом совмещении пропадает разрыв жизни, совершенный смертью. Но момент проходит, и душа болит опять, и пусто, тяжело на сердце, и никто, ничто помочь тут не может.

Спасибо за приглашение приехать к Вам. Но, наверное, надо мне сейчас попробовать прийти в себя с помощью работы, самому, в своем доме. А потом, даст Бог, и повидаемся мы с Вами, мне также этого хочется.

Будьте здоровы, берегите себя.

Ваш Кортин.

4 января 1979 г.»

Он перечитал свое длинное письмо. Все, что он написал, было правдой. Но он сознавал, что, не будь на его совести по отношению к Дуне «брачной» царапины, в этом письме к ее отцу он мог бы и обойтись без ряда сведений и подробностей из их с Дуней жизни.

II

В те новогодние дни он ездил в самое престижное писательское издательство, где еще в Старом году должен был, наконец, пойти в набор составлявшийся им сборник воспоминаний о писателе Раткевиче. За это составительство, побочное для него дело, ставшее вдруг главным и поглотившее уйму времени в ущерб собственной работе, он взялся по принятому на себя солдатскому долгу: Раткевич благословлял его первую армейскую повесть.

Тогда, двадцать лет назад, Раткевич был яркой фигурой в литературном мире. Широкую известность он получил вскоре после войны, сквозь самый огонь которой прошел, воюя в пехоте и будучи дважды раненым. Человек на войне – в окопном быту, в постоянном соприкосновении со смертью, подвластный приказу, страху и в то же время со своим нравственным выбором – стал главной темой его повестей, которые, показывая войну как она есть, источали уже не ненависть и жажду мести, но печаль по людям, любовь к ним. Он начал писать эти свои повести сразу по возвращении с войны. Ему совсем не потребовалось времени на формирование, как Хемингуэю или Ремарку после первой мировой войны, – годы литературного ученичества и поисков, этот неизбежный, прослеживаемый Кортиным почти в каждой писательской биографии десятилетний срок, он прожил до войны, а бедствие ее осознал уже взрослым сердцем. И первая же его фронтовая повесть потрясла и знатоков и рядовых читателей: оставаясь свидетельством войны, она была провозвестницей другого, послевоенного мироощущения. Раткевич мгновенно сделался знаменит, о нем много тогда говорили, писали. Он был отмечен премией, носившей имя самого Сталина. На этой подъемной волне он смело двинулся своим путем дальше. Но тут же попал со второй повестью под жестокий удар и разнос, когда обстановка в стране круто изменилась и по велению победившего властителя свободный дух Отечественной войны, без которого невозможно было одолеть нашествие Гитлера, беспощадно сводился на нет. Провозвестие любви не сбылось, народ остался под прессом тирании, невзирая на многие миллионы жизней, оплативших Победу.

Однако позднее по высочайшему указанию Раткевич был вторично удостоен той именитой премии за роман, посвященный победному окончанию войны и значительно переработанный в рукописи под воздействием испытанной им идеологической проработки. И такое переменение стало даже его тактикой – написать более приемлемое, «лакировочное» произведение после сокрушенно правдивого, дабы сбросить с себя злобную свору правоверных критиков, уцелеть, сохраниться на плаву в то лютое время и как-то продолжать свою тему. Он верил, что силы и возможности его безграничны и, по-видимому, не задумывался еще о расплате художника за подобные компромиссы.

Уже после смерти Сталина и его разоблачения Хрущевым, в несравненно более благоприятный период «оттепели» поднялась вторая послевоенная волна прозаиков-баталистов, о себе заявили писатели, бывшие на войне совсем молодыми. Они входили в творческую силу на этом новом подъеме общественного духа и, пройдя полагающийся им путь осознания и поисков, обрели известность своим словом правды о войне; а Раткевич, взявшийся за огромное полотно-эпопею, в котором намеревался дать картину жизни страны за целые четверть века советской власти, тем временем заболел и умер от рака желудка, не написав этой своей главной, как он был убежден, книги. И о нем вспоминали все реже – полузабытый писатель, не нужный боле предтеча. Такой представлялась теперь его судьба Кортину.

Этого Раткевича Кортин и считал своим литературным крестным – он был первым значительным авторитетом, одобрившим его повесть, причем живо откликнулся на коротенькое письмо незнакомого ему молодого человека, когда сам уже немало лет находился в центре общественного внимания. Конечно, Кортин обратился к нему, потому что восхищался его

повестями. Однако в его выборе имелась и глубоко личная причина: он не хотел идти со своей рукописью к известным писателям, знавшим его покойного отца, тоже писателя, точнее, сценариста и драматурга, чья литературная судьба только обозначилась в довоенные годы в Ленинграде, но не раскрылась, а после войны и вовсе заглохла по трудному для него жизненному раскладу. Кортину было нужно не сочувствие, но беспристрастный приговор. Раткевич же не мог знать его отца – другое поколение, другое время, Москва. Он велел Кортину прислать рукопись, затем пригласил к себе домой, сразу категорически объявил, что ему н а д о п и с а т ь, и тут же, безжалостно цитируя, изругал за нелепые слова и фразы, попадавшиеся в повести, которые до того казались Кортину весьма образными находками. Не ограничившись советами и щедрыми пометками в рукописи, он прочел доработанную повесть еще раз, остался доволен тем, что было сделано, и дал Кортину лестные рекомендательные письма в Военное издательство, где издавался и сам, наказав сообщить, как пойдут дела.

Но близкого знакомства с частым общением между ними не возникло: сказалась разница в возрасте, в положении, да и щепетильность Кортина помешала ему закрепить отношения. Раткевича постоянно окружали люди – и маститые друзья-писатели, и тянувшиеся к нему мастера из других творческих цехов, и многие иные, кто напористо стремились быть его приятелями. А Кортин, в то время строевой офицерик, заверченный службой, только еще искал свой путь. И в личной жизни у него длилась полоса несчастий, начавшаяся со смертью отца. Так что он лишь заинтересованно следил за всем, что публиковал Раткевич и что писалось о нем – его тогда в очередной раз жестоко прорабатывали, причем не за собственные сочинения, а за «очернительную позицию» возглавляемого им литературного альманаха, и происходило это уже в «оттепель», в момент яростного контрнаступления консерваторов, подстегнутых венгерским восстанием. Потом опять и хвалили и ругали – за еще один проходной роман, за новую правдивую повесть, рассказы, которыми он то и дело перебивал работу над своей эпопеей.

Смерть его ошеломила Кортина – Раткевичу еще не исполнилось пятидесяти лет. И все ждали от него нового слова. Кортин присутствовал на его похоронах на Новодевичьем кладбище и впоследствии с горечью отмечал, как в недолгий срок имя Раткевича отошло в тень вопреки проникновенным надгробным речам руководящих писателей, искренним клятвам друзей, многочисленным некрологам, превозносившим его книги, талант и человеческие качества. И вопреки тому, что должно было быть всем очевидно: «вторая послевоенная волна» баталистов взошла не на пустом месте, сюжеты и образы этих новых, добившихся широкого признания писателей с несомненностью свидетельствовали и о том, как точно видели и мастерски воплощали войну в своих произведениях их предшественники и одним из первых – Раткевич.

Кортин успел подарить ему только одну свою книжку – ту первую повесть, которую Раткевич благословил в рукописи. Но навсегда запомнил его помощь «человеку с улицы», каким предстал перед ним тогда. И уже вернувшись в Москву из Заполярья, взялся за составление книги воспоминаний о нем, что, как зарок, тоже объявлялось на похоронах. Кто-то из близких друзей Раткевича начинал было это дело, да бросил – слишком много времени за счет своих книг требовало оно, связанное к тому же с обиванием административных порогов по поводу спорной и отодвигаемой в прошлое фигуры. Не обошлось и без возникших раздоров между вдовой и прежними друзьями-писателями. И дело заглохло, будто ждало столько лет именно его, Кортина.

А на дворе стояла уже иная пора, «оттепель» была задушена. И та печатная литература, которая стремилась быть правдивой, вынуждена была стать намекаательно-подтекстовой. Книги теперь ценились главным образом по той мере правды, которую все же несли в себе, а читатели в свою очередь научились ловко выуживать эти зерна правды и были благодарны за них авторам – даже при неизбежной половинчатости и смазанности таких книг. Это было особое состояние допуссаемого «подполья» – подполья книг в самих себе и подполья читателей в своем

собственном сознании. Но среди всего обкорнанного литературного кустарника возвышались почти раскидистыми деревьями произведения тех нескольких писателей, чей талант и завоеванный шаг за шагом нравственный авторитет, громкая известность в стране и на Западе дали им неофициальное право далеко отодвинуть от себя запретительные барьеры и говорить если не всю правду, то уже столько ее, что не требовалось ничего выискивать, догадываться, ловить между строк – читай и бери прямо в душу... И тогда сами читатели, у которых в сознании имелся свой накрепко ввинченный персональный «внутренний редактор», в один голос изумленно спрашивали друг друга: «Как это пропустили? Как это могло быть напечатанным?!»

Кортин пристально следил за происходившими изменениями. Было несомненно, что нынешний «ползучий неосталинизм» слабее «классического». Тот мощно наступал, применял массовые репрессии, держал народы, замкнутые единой коммунистической идеологией, в страхе, вере, энтузиазме. Этот, защищая свои блекнувшие основы, свою власть и благоденствие, вынужден был учитывать опыт кровавой сталинской тирании и недавнюю разоблачительную «оттепель», сочетал кнут с пряником, силу с подкупом нужных режиму общественных групп и массированно обрабатывал, оболванивал население всею мощью современной идеологической индустрии. Кортин видел: насилие и ложь поменялись теперь местами. Полем боя была психология людей, орудием тотального оболванивания – телевидение, радио, печать.

И Кортин, готовя сборник воспоминаний о Раткевиче, загорелся желанием приблизиться к тем, кто смел позволить себе больше других сказать правды. Почему бы и ему не сделаться Юпитером, а не оставаться быком?! С удивлением он сразу обнаружил, что начинать надо с самого себя, преодолеть прежде всего свою самоцензуру. Одно дело было читать «антисоветские» материалы дома, с Дуней, с друзьями, подпольно, другое – идти с подобными текстами в государственное издательство и предлагать для опубликования официальным лицам. Таких заведомо «непроходимых» материалов у него было немного, и принадлежали они большей частью умершим авторам, написавшим их впрок, «для внуков». Материалы эти вполне годились для любой «самиздатской» рукописи, и Кортину пришлось сделать над собою усилие, чтобы вложить их в рукопись сборника. Вот где была исходная точка, зачаток лживой книги – предварительный страх самого создателя. Страх этот логично и убедительно доказывал ему: данные материалы все равно снимут, зачем же начинать дело с конфликта, заранее раздражать редактора, состоящего на государственной службе, он ведь тоже человек. И от него зависит судьба книги... Возникший спор с самим собой разозлил его. На собственном опыте он со стыдом убеждался, что рабу свойственно приспособляться, угождать своему тюремщику и – добровольно надзирать свое рабство. В том советском литературном процессе, в котором все они участвовали, автор сам заблаговременно надевал на себя требуемые колодки и предоставлял своим редакторам комфортные условия для их работы. Для той работы, о которой Дуня, посмеиваясь над своей профессией, сказала однажды, что заключается она в превращении живого сочного дерева в обструганный телеграфный столб.

Прочитав наиболее крамольные материалы, отобранные в сборник, она взглянула на него вопросительно.

– Пусть о н и сами снимают, своими руками, а не моими. И пусть их гложет за это совесть, – ответил он.

Дуня помолчала, потом веско сказала:

– Снимут. И без малейших угрызений...

– Но без меня...

Она вздохнула, соглашаясь с ним и предвидя неминуемые осложнения, на которые он нарывался.

А он решил делать такой сборник, за который ему не будет стыдно. Он болезненно помнил ту недавнюю мясорубку, через которую пропустил его повести воениздатовский редактор. И теперь рассчитал так: чем выше он поднимет планку в начале работы, тем больше у него

останется возможностей для маневра потом. А писательское издательство – все-таки не Воениздат, где за подобные «антисоветские» материалы наверняка бы пришили политическое дело с опасными «оргвыводами».

На сей раз ему повезло с редактором. Это был человек на несколько лет помоложе его, также «оттепельного» племени, порядком порастративший свое здоровье и годы в шумных городских компаниях и бивачных летних отпусках, но все еще державшийся за свой «джинсовый» стиль. Он был демократических убеждений и не возразил против большинства воспоминаний, отобранных Кортиным для сборника. Даже оставил в сокращенном им самим варианте наиболее интересный материал из числа крамольных, изъяв оттуда непроходимые места, за которые его самого тотчас выкинули бы из редакторов; тут его ножницы срабатывали жестко, соблюдая допустимый предел. Но многое в сборнике было упаковано опытными авторами достаточно искусно, сказано не в лоб, не дразня гусей, а – все равно сказано и было бы понятно читателю. Так что на этом этапе книга получалась вполне порядочной, правдиво рассказывающей и про самого Раткевича и – через его судьбу – об их времени, о войне и о послевоенной литературной жизни в родном отечестве. Каков и был общий замысел Кортина.

Здесь издательская мясорубка заработала в кабинетах старших столоначальников. С ними редактор сборника спорить не мог. Он умело отошел в сторону, предоставив Кортину, как составителю, вести дальнейшую борьбу самому – что отстоит, тем и будет довольствоваться. Но изъятия в текстах, которых потребовали две начальственные дамы, главный редактор издательства и заведующая редакцией, безошибочно выхолощивали все то, что делало сборник порядочным. Требовали не упоминать о тех повестях Раткевича, которые прежде подвергались разносам, хотя впоследствии они переиздавались и даже оценивались положительно; нельзя было ничего говорить и о разгромленном литературном альманахе, возглавлявшемся Раткевичем на первоначальном подъеме «оттепели», и об его отношениях со все еще треклятым Пастернаком; и, строго-настрого, запрещалось вновь касаться сталинских репрессий – массовых арестов, расстрелов, лагерей для миллионов заключенных. Не было никаких репрессий в красивой и героической истории первого в мире социалистического государства. Хотя совсем недавно «лагерная тема» являлась открытой и самой жгучей в литературе. И этот запрет на уже известное превращал издательский процесс в фантазмагорию.

Передавая Дуне в подробностях свои переговоры с издательскими церберами, он характеризовал их словами Талейрана о возвратившихся Бурбонах: они ничего не забыли и ничему не научились. Но, конечно, действия их не были лишь инициативой самосильных энтузиастов прошлого. То было рьяное претворение в жизнь и д е о л о г и ч е с к о й л и - н и и единственной в стране партии, «руководящей и направляющей силы советского общества», как она сама себя провозгласила. Повсеместно, помимо официальной цензуры, занимавшейся государственными и военными секретами, вершилась другая, полугласная, но всеохватная политическая цензура под директивно-неопределенной вывеской «Главлит». Все, что издавалось и шло в эфир, что произносилось со сцены, эстрады, с экрана, должно было быть «залитовано» – иметь разрешительный штамп на обнародование. Эта тотальная цензура делала вид, что вроде бы и не существует, ибо орудовала безо всякого закона, и редакторам, с нынешним оглядом на Запад, даже воспрещалось ссылаться на нее, а все циркуляры, перечни, запреты Главлита скрывались от авторов, подчинявшихся своим редакторам вслепую. Да авторы и сами без секретных инструкций, собственным советским духом ведали – что проходимо, а что нет; у каждого, кто намеревался что-либо опубликовать, кроме «внутреннего редактора» имелся еще и свой «компьютер», рассчитывающий варианты дозволенного в той или иной обстановке. Таковы были условия игры. Для тех же, кто не желал подчиняться этим правилам, оставалось или писать «в стол» или в «самиздат» и «тамиздат». Но в последних двух случаях надо было готовиться уже не к издательской мясорубке, связываемой непосредственно со Старой площадью в Москве, где мозговой цитаделью государства располагался ЦК, а к той самой, репрессивно-карательной,

которая осуществлялась с соседней площади имени Дзержинского, достопамятной Лубянки, где главным опорным бастионом режима возвышался гранитный массив КГБ. Впрочем, сформулировал Кортин, перефразируя Маяковского, писавшего в поэме, что «Партия и Ленин – близнецы-братья», обе площади были «близнецы-сестры»...

Фантасмагория издательского процесса проявлялась при редактировании рукописей и в том, что редакторы во что бы то ни стало добивались от авторов д о б р о в о л ь н о г о согласия с их указаниями. Такое согласие как бы снимало клеймо незаконности с административного вторжения в авторский текст. И авторы соглашались, сами переделывали, вычеркивали, искали какие-то словесные обходы, иносказания. Лишь бы только выпустить книгу. Ибо весь этот процесс происходил под реальной, не фантасмагорической, угрозой запрета. Такая угроза парализовывала волю к сопротивлению. А многих авторов вообще психологически переводила под радикал удобного подчинения, как бы снимая с них самих всякую ответственность. Конформизм и цинизм успешно пускали корни в их сознание и поведение.

Кортину помогал теперь его воениздатовский опыт. Он на себе испытал, что идеологическая цензура вершится все-таки в подвижных границах, и у автора есть возможность противостоять хотя бы явному самочинству. Даже в Воениздате, борясь с редактором-самоуправцем за свою заполярную повесть, он нашел в конце концов поддержку у начальника-либерала. Так что воля сопротивляться у него была.

Вся хитрость заключалась в том к а к сопротивляться. Нельзя было допускать прямой конфронтации, тем паче скандала. Здесь дело проигрывалось напрочь – автор сразу становился «антисоветчиком», «психом», «хулиганом». Сопротивляться надо было спокойно, миролюбиво, даже улыбочиво и, если уж не вовсе по-христиански, то запрятав подальше всякую неприязнь, почти по-свойски. После Воениздата Кортин обрел долготерпение, так трудно дававшееся ему прежде, и не запаниковал, когда теперь рукопись сборника несколько месяцев выдерживалась, как под домашним арестом, в сейфе главного редактора из-за того, что он не соглашался на предложенные изъятия. Заведующая редакцией предупреждала его, что книга выпадает из плана, что никаких дальнейших гарантий на ее издание они не дают; давили и по финансовой части, не выписывая полагавшихся денег и подавая тем самым еще один предупредительный сигнал. Но он тоже брал их измором, дипломатничал, удивлялся, спрашивал простодушно «почему?», когда видел, что главлитовское насилие дополняется местным перестраховочным произволом. В отчаянный момент он включил в дело вдову Раткевича, и они написали обстоятельное официальное письмо главному редактору, чтобы отстоять – от нее же – два важных для сборника материала. Эта его последняя ставка имела в виду чиновничью психологию, на которую официальная б у м а г а всегда оказывала наибольшее воздействие. Только Дуня знала, чего стоила ему вся эта нервотрепка. Но то был его окоп, в котором он засел, мелкий окопчик, частный, он тут никак не преувеличивал, но все равно – его точка сопротивления...

Вместе с вдовой Раткевича раз он был в издательстве в ноябре, в тот просвет после обострения болезни Дуни, когда казалось, что они выскочили из сжимавшегося кольца. Он привез редактору несколько остававшихся у него воспоминаний фронтовых друзей Раткевича, причем часть этих материалов стилистически правила Дуня. В издательстве ему, наконец, объявили, что сборник запускается в набор. Письмо сработало. Тактика его оказалась верной. Главный редактор отступилась от сборника. Ее заместитель, сравнительно молодой и новый в издательстве человек, которому после долгой задержки была передана рукопись для окончательной чистки, проявил себя гораздо либеральнее начальницы; он спокойнее смотрел на былые литературные страсти и в рамках дозволенного действовал без самоуправства. Конечно, кое-что Кортину пришлось уступить, но это была все же небольшая толика того, на что свысока и так лихо размахнулась главный редактор, не ожидавшая вообще какого-либо сопротивления

от неизвестного литератора. И это был для него некоторый реванш за те потери, которые он понес при издании своей книги в Воениздате.

Посещение издательства подтолкнуло его к работе. Он принялся опять за повесть, начатую около двух лет назад, но не доведенную и до половины. Повесть тоже была о Раткевиче. Она уже стала для него исключительно важной, даже предопределенной ему. Но когда он приступал к сборнику воспоминаний о Раткевиче, у него и в мыслях не было ничего подобного – только мемуарная книга, составляемая в благодарную память. Потом, по мере погружения в обширный материал, он, конечно, загорелся собственным анализом его жизни и характера. Особенно захватывающими были письма самого Раткевича и относящиеся к нему документы периода войны, которые вдова опубликовала цельной подборкой десять лет назад и которые Кортин прочел лишь теперь. Однако и на этой стадии он еще не думал ничего писать о нем – кроме тех давних своих страничек об их первой встрече, посланных вдове после смерти Раткевича. Он был уверен, что все его попутные психологические «размотки», сделанные спустя столько лет, давно раскрыты друзьями-писателями, близко соприкасавшимися с Раткевичем многие годы. И ждал непременно поступления в сборник этих материалов. А прежде всего он нетерпеливо ожидал подтверждения одного своего открытия, ставшего для него очевидным в судьбе Раткевича. И как раз именно такого истолкования не оказалось в мемуарах даже тех друзей Раткевича, кому все карты были в руки, чтобы блестяще написать об этом. Да, они блестяще написали о Раткевиче, но не о том, о чем думалось Кортину. Они писали о своем. Втайне он надеялся, что так и получится. Вот тогда, словно по разрешительному знаку, и вырвалось наружу исподволь созревшее в нем желание самому воссоздать жизнь Раткевича. Наверное, это было неизбежно после того, как он вобрал в себя столько материалов. Ведь он был не из литературоведов, кто чаще всего и составлял подобные сборники, а какой-никакой, но сочинитель повестей.

У него сразу возник напряженный сюжет, придумалось нужное название и быстро проработался подробный план всей повести. И тут же на одном дыхании, он написал тогда две большие главы. Он писал с воодушевлением, чувствуя, что наконец-то выходит – впервые! – на широкий литературный простор, за локальные рамки своих армейских повестей. Но потом на них с Дуней обрушились ее повторные операции, а еще надо было сдавать в издательство сборник самих воспоминаний о Раткевиче, та рукопись занимала письменный стол, и работа над повестью пошла отрывками, пока не оборвалась совсем...

Он листал написанное, восстанавливая для себя, будто далекое прошлое, детали, внутренние связи, общее течение повести, все, что было там уже сделано и намечено в его прежней жизни. Он вошел в работу, кое-что дописал, переставил по своим наметкам, почувствовал вновь атмосферу всей вещи и живительную для него силу самой работы. И в то же время он вдруг с недоумением заметил, что литература сейчас не самое главное для него, как он считал всегда, а лишь один слой его существа. Произошло какое-то вулканическое перемещение и обнаружилось, что сокровенность его души связана прежде всего с Дуней. Это пока она была жива, ее присутствие привычно воспринималось им как бы извне, через свою повседневную самостоятельность. Теперь стала явной сама суть, которой он жил и живет.

Он смирялся с тем, что Дуня телесно отделилась от него, что она находится за каким-то своим пределом, и эта грань между ними никогда уже не даст им быть вместе физически, сойтись рука к руке, сесть рядом, ощутить тепло друг друга, живую, реальную их совместность. Но с наименьшей реальностью он чувствовал, что душа ее витает около него, сопровождает, печалится, видя, как он тяжело горюет, судит себя, как колотится о муторный быт, одиноко и неприкаянно идет по улице, под вечер забредает в какую-нибудь закусочную или столовую, машинально жует там что-то несъедобное и продолжает свой одинокий путь. Но видит все это она уже с безмолвной и вышней грустью т а м о ш н е г о понимания здешней жизни с данными людям законами и неизбежными их страданиями. И он понимал, что она, его любящая и люби-

мая Дуня, имеет право смотреть так, со стороны, потому что сама уже перешагнула тот таинственный рубеж, который для живых непостижим и пугающ, а для многих страшен до ужаса, даже до помешательства. Он думал о том, что каждому в свое время предстоит перейти этот рубеж земного бытия – перемахнуть легко, сразу или переползти с мучениями. Ее отважная душа свободно вылетела из тела, которое неотступно сжали тиски физического разрушения. И теперь он, Кортин, на себе испытывал завораживающий иску, тысячелетиями будоражащий ум людей, – установить связь, представить себе, постичь тот мир, в который ушло твое любимое существо и в который в назначенный срок переместишься сам.

Он спрашивал себя: что есть человек? Тело? Но оно брэнная основа, имеющаяся у всякого животного, начало наших плотских потребностей, вождлений, чувствований, пусть и весьма утонченных в развитии. Ум? Тоже нет, ибо собственно ум, «голый интеллект», лишен морального вектора, безразличен к нравственности и в качестве аппарата познания, управления, изобретательства может быть употреблен как на добро, так и во зло. Главное в человеке, ядро, средоточие всей его натуры – душа, каковой она в нем образовалась и развилась. Вот его непреходящая сущность, дающая направление и его телу, и уму. И благословенны души, в которых светится Добро и Любовь.

Он чувствовал душу Дуни рядом с собой, в себе. Это был освободившийся от большого тела чистый и святой ее д у х, она сама, суть, весь сгусток ее. Но одновременно перед его глазами стоял ее зримый образ, какую она реально была в жизни, – ее улыбка, тянущиеся к нему при встрече губки, вся ее фигурка, вызывающая у него нежность и бережность, ее речь, взгляд, голосок. И ее бесплотный дух был непредставим без ее действительного образа, ставшего ему привычным и милым, несмотря на физический недостаток.

Он жил в неустойчивом состоянии, как бы ожидая, куда толкнет его внутренний маятник, и не сопротивлялся ни этому своему пассивному ожиданию, ни любому возможному исходу. Костер собственного суда не разгорался более с пожирающей силой, только тлел. Работа принесла отраду, в ней открывалась ему надобность и привязка к жизни, цель и средство жить. Это было и Дунино завещание, и его жизненный обет – написать свое главное. Но горе не отпускало, а работа не заполняла образовавшуюся пустоту в душе, проходила вне ее. И пустота эта гасила его жизненные силы, пронизывала тоской небытия, лишала опоры в себе. Спасение от ее холода могло дать только человеческое тепло, и он каждодневно надеялся на живительный обогрев от встречи с приятелями, ждал их прихода к себе или зова к ним. В молодости он всегда заставлял себя «держат марку». Сейчас он не ставил перед собою задачи во что бы то ни стало выглядеть молодцом и скрывать ото всех, как ему тяжело. Но и просить самому помощи у кого-либо было для него невозможно. Он ни к кому не напрашивался в гости, не звонил с отчаянья, когда не находил себе места и готов был завывать дома от тоски. Он упрямо полагал, что и так всем видно, что с ним творится, и тот, кто хочет поддержать товарища, должен это сделать по собственному побуждению. Как делал это всегда он сам.

Однако нынешние его друзья-приятели отделялись редкими телефонными звонками и не торопились повидаться с ним. На неделе все они были заняты на службе и спешили домой, чтоб отдохнуть, а в субботу и воскресенье их поглощали давно намеченные и неотложные семейные дела.

Спрятаться от одиночества в первые выходные дни после Нового Года, когда он особенно ждал общения с кем-либо из них, ему помогла работа. Но дружная отстраненность приятелей больно задела его. Чтобы не поддаваться обиде, он поиронизировал над человеческой природой. Конечно же, невесело навещать товарища, у которого горе; и коли к себе позвать – оно притащится вместе с ним, нарушит мир твоего дома. Вот и способнее каждому из них предположить, что кто-то другой наверняка уже обогрел страждущего, а себе назначить следующий раз. Не зря говорится: Иван кивает на Петра...

Проявившееся все же раздражение на приятелей вызвало у него недовольство собой. И тотчас вспомнилось, как Дуня одним своим присутствием поворачивала его к терпимости, мягкости, большей доброте к людям, даже если они были неправы. Она никогда не спорила с ним, слушала его доводы и рассуждения, принимала, казалось, их бесспорность, предоставляя в то же время ему самому, отойдя от прямой логики и твердых принципов, прислушаться к своему сердцу. А он слушал ее сердце, которое не соглашалось с его максимализмом в отстаивании истины, но и не противостояло ему, ибо любило его таким, каков он есть. За то, наверное, и любило. Ему подумалось теперь о другой крайности: никого, ни за что, никак не суди. Но эту мудрость и в нынешнем своем положении он отверг – он не намеревался судить, он не мог не иметь своего суждения.

Среди дел, которыми он старался себя загружать, была почти ежедневная езда в Измайлово. Больше ему и некуда было ехать. В Замке он не чувствовал своего одиночества. Здесь Дуня была ближе всего к нему. Все в доме было пронизано ею, несло на себе прикосновение ее рук, находилось под ее взором, служило ей и получало от нее полагающуюся хозяйскую заботу. Здесь он не размышлял о своих друзьях-приятелях. Садился на диван или в ее кресло и на какое-то время обретал устойчивость, как одинокий измученный пловец, очутившийся на островке, где он мог передохнуть, но не имел права оставаться надолго. Потом понемногу укладывал в картонные коробки кое-какую утварь на кухне. Он помнил о сроке передачи квартиры, но все еще сохранял ее внешний облик.

Каждый раз перед тем, как подняться сюда в лифте, он по обыкновению заглядывал в Дунина почтовый ящик, и в один из вечеров достал письмо. При тусклом лестничном освещении он разглядел лишь то, что оно адресовано Е.А. Никольской. А войдя в квартиру, обмер: конверт был надписан Дуниным почерком. Сама себе пишет! Но он быстро нашелся, вспомнил, что это, наверное, извещение от тех бескорыстных добродеев, которые у себя на дому производят милил, грибок, во многих случаях, как шла о том молва, способствующий рассасыванию раковых опухолей. Фамилия этих людей, мужа и жены, была известная на слух, из ученого мира, немецкая или еврейская; говорили, что кто-то из них из семьи академика, что они многожды обращались в министерские инстанции с этим своим милилом, чтобы там официально проверили его свойства, убедились в пользе и наладили промышленное производство, как лечебного средства; но ответ получили отрицательный – мол, не лекарство это от рака, а простоквашка. И тогда они сами в домашних условиях стали регенерировать этот грибок, благо в министерском заключении он признавался не только бесполезным, но и вполне безвредным, и бесплатно, по строгой очередности выдавать всем, кто у них просил. Обращаться к ним велели только письменно, дабы придать доброму делу нужный порядок и не превратить свой дом в проходной двор. Очередь установилась огромная. Судя по всему, они были истинно интеллигентными людьми и подвижниками, и выдавали свой милил бесплатно не только потому, что опасались нарушить официальное постановление о бесплатных лекарствах для онкологических больных и тем дать властям повод преследовать их, но также из чисто нравственных побуждений. Единственное, что они требовали, это вложить в направляемое им письмо пустой конверт с маркой и надписанным адресом просителя – для извещения его о том, когда и куда приехать за лекарством, – избавляя себя от лишней писанины и почтовых расходов.

Дуня посылала им письмо летом, но забыла, как потом призналась, вложить пустой конверт и потому не попала в очередь, этот порядок там блюли автоматически. Но тогда она пользовалась милилом, который Кортин привозил от знакомых, где в доме была та же беда. Вскоре тот милил кончился, вернее, как они все посчитали, потерял свои качества от неумелого самодельного воспроизводства. И после затянувшегося перерыва, что было еще одной их халатностью, уже глухой осенью, не получив ответа на давно посланное Дуней письмо, он сам поехал

по имевшемуся адресу, и там вежливая, но немногословная женщина, промежуточное лицо, стоящее на страже дома, не вступая в объяснения, посоветовала написать еще раз...

Так оно и оказалось: «Приезжайте за милилом 14 января в 3 часа по адресу...» Кортин снова взглянул на конверт. Еще один укор этому свету от Дуни, надписанный ее рукой. Косвенный укор, ибо сама она никогда не роптала, никого ни в чем не обвиняла. А милил, если бы его принимать регулярно и длительно, помог бы ей. Запоздалое подтверждение его лечебных качеств укололо Кортина в разгар осеннего обострения, когда он за немалые деньги покупал у одной ученой дамы со званием члена-корреспондента медицинской академии препарат вакцины, разработанный при ее активном участии для других, не онкологических, болезней. Теперь она выдавала эту вакцину и за панацею от рака. У этой дамы имелась специальная подручница для практических консультаций на дому, врач, знавшая, судя по ее саморекламным словам, все ходы и выходы в Главном онкологическом центре, где она работала прежде, и уклонявшаяся назвать место, где она работает ныне. Кроме денег за сам визит, она, прощаясь, хватко вытребовала у Кортина еще дополнительную сумму под видом оплаты ее езды в такси. Хотя станция метро находилась в пяти минутах ходьбы, и было ясно, что ловить такси на трассе в другой стороне от дома Дуни она не станет. Вот эта-то оборотистая толстуха, пахнущая потом, уточняя ему схему применения вакцины, с минутной доверительностью и заявила вдруг: «Зря вы прекратили принимать милил». Это прозвучало как явное признание милила, бескорыстно предоставляемого больным интеллигентами-подвижниками, и, в сущности, подчеркивало лечебную ценность вакцины, на которой зарабатывала ученая дама со своей артелью.

Все это вспомнилось ему сразу, когда он, стоя в пальто в прихожей, перечитывал лаконичные машинописные строчки, указывающие на еще один возможный, но упущенный шанс спасения Дуни. Он разделся, вошел в комнату, сел в ее кресло, но никакого устойчивого опора под ним уже не было. Только давящая отовсюду тяжесть. У него разболелось сердце, и он с трудом вернулся домой к ночи.

И днем он недомогал, прекратил работу, лежал, дочитывая роман Каверина в «Новом мире». Никто из приятелей ему не звонил, он пролежал весь день в одиночестве, не работал больше, не вышел на улицу, не брался за свой дневник. Конверт с запоздалым извещением вышиб его из наметившегося было шаткого равновесия, внутренний маятник вдруг заходил размашисто и беспокойно. Его опять закачало, почва ушла из-под ног, все переживания обострились и подобрались в единый беспросветный ряд – тяжесть самообвинения, удушье одиночества, обида на приятелей. Он чувствовал свою посторонность окружающему миру, и мир этот также казался ему чужеродным, потому что в нем не было Дуни.

У него продолжало болеть сердце и ныли, не переставая, левое плечо и рука, выделившись изо всего тела в замкнутую недужную зону. Он почти не выходил из дому и укладывался поздними вечерами в постель с мыслью о том, что не проснется утром – не выдержит сердце, оборвутся последние ниточки, связывающие его с этой жизнью. И он думал, что это был бы вполне закономерный исход. Ведь говорили же в старину: «Умерла (реже – умер) от разбитого сердца». Врачей он не вызывал, лекарств не принимал, за жизнь не цеплялся. Страха он не испытывал, и был этим удовлетворен. Очевидно, притяжение своей участи отодвигало страх. И суету. Но наступал еще один день, затем еще один. Его жизнь продолжалась, и как видно, это тоже было пока его участью.

Он возобновил поездки в Измайлово. Его тянуло туда, в Замок. Там ждали его дела, которыми он должен был заниматься несмотря ни на что. Однако за внешним ходом продолжившихся дел он сознавал, что двигается по некоему предначертанному пути, ожидая своей конечной участи, что не волен в себе. И действительно подошел к тому январскому дню, ставшему для него достопамятным.

Это была пятница. Еще одна пятница. С утра у него ныло сердце, он лежал до полудня, потом записывал в дневник, подытоживая свои размышления об отношениях с людьми. Но думал теперь не об их черствости, а о надобности самому быть терпимым и добрым, помнить, как относилась к людям Дуня. Вот в чем был корень: нельзя раздражаться, нельзя никому предъявлять претензии, пусть даже самые справедливые. Тем паче в его состоянии, когда сил у него ни на что не осталось, только бы самому устоять и за работу приняться; а другие – пусть живут, как знают, жизнь сама их научит и прояснит что нужно. Ты же помни даденое, не пеняй недоданным...

Он немного разошелся за этими записями и поехал в Замок, где должен был встретиться с Ниной Григорьевной. Она все еще отбирала для продажи Дунины вещи. И пока он находился в Замке не один, упаковывал на кухне посуду, а Нина Григорьевна занималась платяным шкафом, этот январский день вроде бы не выходил из ряда других – такой же день, как и предыдущие, ни легче, ни тяжелее, обычный теперь. Но вот Нина Григорьевна ушла, и что-то быстро изменилось. Все вокруг него и внутри, сомкнувшись, стало ощущаться непомерным раздавливающим его грузом. Он точно попал в двойной пресс, который в своем встречном движении проходил сам через себя и потрошил таким сквозным образом его существо. И когда ему сделалось совсем неважно, он, не в силах понять, что с ним происходит и куда ему бежать, остановился посреди комнаты и спросил вслух:

– Дуня, ты влечешь меня за собой? К себе?

Спросил без сопротивления, чтобы знать. Совершившееся с ним должно было быть связано с нею, с ее тамошним нахождением, в этом он не сомневался. И вскоре ему стало чуть легче, смертельная тоска несколько отпустила его. Дуня помогла, извернулась, подумал он. Он почувствовал, что сама она не тянет его за собой, что ее завет – «Живи!», как она написала ему. Но сжимавшие его тиски оставались, он был в их власти и не ведал, надолго ли хватит ее облегчительных усилий. Мелькнула мысль, что теперь он сам должен помочь себе. И все старания его сразу устремились к тому, чтобы побыстрее выбраться из Замка, попасть в свои Сокольники, там, верилось ему, он окажется в безопасности. Он не медля, по-военному четко, как бывало в полку по тревоге, собрался, вышел из квартиры. На улице, в те несколько минут, что отделяли его от метро, он настороженно следил, как опустошенность и зыбкость его раздавливающегося земного существования двигаются вместе с ним невидимой и погибельной тенью, которая никак не отставала, но почему-то и не набрасывалась на него в этом удобном, темноватом и пустынном, месте, чтобы поглотить окончательно. Что-то мешало такому ее последнему прыжку. И он даже почувствовал вдруг упругость своего шага. У входа в метро он подумал, что спасся, здесь было светло, были люди, следовавшая за ним тень, должно быть, не могла сюда войти. Но когда он спустился и сел в поезд, его угнетение опять усилилось, он явственно ощутил, что теряет себя, что в нем больше нет Дуни, ее душа покинула его, и он стал теперь беспомощным одиночкой. Тем не менее, он продолжал ехать, думая только о том, как бы перетерпеть весь этот разлом его естества, дотянуть до дома, до своих стен. Но на широких каменных ступенях перехода со станции «Арбатская» к своим Сокольникам он с холодным ужасом внезапно осознал, что его самого уже нет на свете. Да, он перемещался, шел в своем тяжелом ратиновом пальто, в зимней меховой шапке, спускался по каменным ступеням, занимал место в пространстве, и никто из встречных или идущих следом людей на это место не заступал, видя, что тут есть человек, плотный по виду мужчина. Но сам-то он совершенно точно знал, что никакого человека здесь на самом деле нет, что это одна видимость, ибо у него не стало собственной души, что душа его в тот момент уже устремилась вослед за Дуниной душой, и ему предоставлялось теперь лишь оцепенело взирать, как свершается здешнее уничтожение его брэнной оболочки. Он был во власти господствующих над ним сил, которые вынули из него душу, оставив невидимо кровоточащую пустоту в груди, и пустота эта распирает его с космической неотвратимостью, и вот он, все сознавая, ждет, что сейчас будет разорван и рассеян или

просто испарится на этих каменных ступенях, не оставив на них никакого следа, отпечатка. И никто из окружающих даже не заметит его исчезновения – ведь его уже и нет среди живых, он уже по ту сторону...

А между тем он все продолжал спускаться по этим широким ступеням, с одной на другую, ожидая на каждой из них своего уничтожения, но не прекращая движения; потом он так же обреченно шел по платформе; потом стоял на этой слишком просторной платформе под высоким сводом станции, видный отовсюду, как на лобном месте, в ожидании поезда и того неизбежного, что все равно успеет произойти с ним до этого прибытия. Ни спрятаться, ни скрыться он не пытался. Ничего живого, человеческого в нем уже не оставалось, разве что вот это истошное понимание своего несуществования и этот последний несуетный страх перед конечным физическим распадом. И все-таки он ждал поезда.

Он глянул в тоннель, откуда приближались шум и свет. Подошел сверкающий поезд. Стал вдоль всей платформы, раскрыл все двери, выпустил немногих в ту пору пассажиров и стоял с полностью раскрытыми дверями для тех, кому надо было садиться. Ничто не воспрепятствовало Кортину войти в него. И ничто не помешало потом закрыться за ним раздвижным дверям вагона, принявшего его в себя. Они сдвинулись с глухим ударом черных боковых прокладок из жесткой резины, напрочь отсекая его и от лобного места платформы, и от Голгофы широких каменных ступеней, спускавшихся к ней. Затем поезд тронулся и так же беспрепятственно покинул эту станцию.

Кортин сел, поставив на пол свой чемоданчик, достал из бокового кармана чемоданчика тоненький сборник стихов Новеллы Матвеевой – он всегда имел с собой какое-нибудь чтение. Он извинился, когда его чемоданчик на полу качнулся на ногу соседа, молодого человека с бородкой, вежливо ответившего ему на извинение. Тот тоже читал. Кортин ухватил на странице в его книге имя – Д'Артаньян. Словно ощутив в руке канат спасения, он воскликнул про себя: «Вот что я возьму сегодня читать перед сном!» Должно быть, некая добрая к нему сила, сохранив его в обход высшей и бесстрастной, вершившей общее предначертанье, но не вдававшейся скрупулезно в отдельные частности перевода душ в иной мир, теперь подавала ему и этот знак поддержки.

Дома он достал с самой верхней полки «Трех мушкетеров», любимейшую книгу своего отрочества. В ту пору он легко пересказывал ее почти наизусть с любой наугад открытой страницы, а диалоги в захватывающих местах декламировал про себя слово в слово. Он листал теперь книгу, лежа в постели, читал, вспоминая отдельные эпизоды, и что-то жизнестойкое, даже радостное, как из тех благословенных лет, возникало в его побаливающем, но живом сердце. Ему стало спокойнее и теплее. Очевидно, в него вернулась тогда душа. Было давно полночь. Пятница кончилась.

И настали очередные выходные дни. Он прервал свои поездки в Измайлово, осознав, насколько обманчивым было его забытье там. Каждый его шаг, взгляд, прикосновение в Замке – все вызывало ответное облучение горестью о Дуне, о них обоих, о том, что здесь было и кончилось. И, спасаясь в Замке от одиночества, он в то же время попадал под воздействие этой растрavляющей душу радиации.

Оставшись дома, он тем сильнее надеялся пообщаться в эти дни со своими приятелями. Особенно хотелось увидиться с Сергеем Коробко, с которым он был дружен ранее нынешней компании. Коробко заведовал одной из редакций в Центральном партийном издательстве, но был человеком «оттепельных» взглядов, и редакция его, возникшая в тот благословенный период, также считалась до сих пор весьма приличной, несмотря на саму «фирму». Кортин испытывал к нему давнее тяготение и почитал за глубокий ум. А Коробко и его жена Ольга, значась его друзьями, соблюдали некую тонко ими устанавливаемую и трудно уловимую для прямодушного Кортина дистанцию и имели, как с опозданием догадывался Кортин, еще свой, отдельный от него, круг общения с наиболее почитаемыми авторами, издававшимися у Сергея.

С компанией Кортина и Дуни они соприкасались только при сборах у него в Сокольниках. И Новый Год неизменно встречали дома, своей семьей; потому Кортин и отклонил сделанное ему на этот раз, после смерти Дуни, приглашение прийти на Новый Год к ним, и Сергей нисколько не настаивал, не уговаривал, сразу принял его отказ как должное. Но, несмотря на все подобного рода пометки ума, сердце его стремилось к Коробко и видело в нем достоинства, пропуская недостатки.

Но никто из близких приятелей ему в те выходные даже не позвонил. Коробко молчал уже две недели, Мильчин декаду. Единственный, кто позвонил ему в субботу, был Кованов, пригласивший его поехать на днях в Михайловское, «к Пушкину», как он выразился. Туда направлялись на экскурсию преподаватели техникума, в котором работала его жена, и у них оказалось свободное место. Кортин встрепенулся – да, надо проехаться, оторваться от дома. И тотчас вспыхнуло – опять из Дуниного последнего письма: «П о п у т е ш е с т в у й!» Она ведь составила ему целую программу, чтобы он выжил после ее смерти.

Конечно, Михайловское было не путешествие, три дня всего, но все же поездка, отвлечение, так нужное ему сейчас. И время поездки подходило – как раз между его днем рождения и Дуниными сороковинами. А он был чуток к таким совпадениям, принимал их за перст судьбы. Он согласился поехать, выразил Ковановым признательность и даже сходил с ними вечером в кино, соблазнившись фильмом Эйзенштейна «Иван Грозный». Это была вторая серия, запрещенная тридцать лет назад Сталиным, а нынче допущенная на экран, как либеральная подачка властей. Но не такой фильм нужен был сейчас Кортину, он с трудом дотянул до конца.

После кино они прошлись втроем по ночной Москве от Никитских ворот к Манежной, по самому центру, мимо Университета, где он учился заочным порядком в молодые офицерские годы, мимо державного Кремля, и эта прогулка внесла наконец в его душу успокоение – и тишиной, и стариной, и присутствием рядом с ним людей.

Но воскресенье он опять провел в полном одиночестве. За работу не брался, писал с утра свой дневник, все еще ожидая телефонных звонков от своих приятелей. Никто, однако, не звонил ему, только Кованов уточнил по телефону его паспортные данные для внесения в список едущих на экскурсию – нигде не обходилось без анкетных формальностей. Сам он тоже никому не звонил, сказав себе, что пусть он лучше загнется, нежели подаст им сигнал SOS. И по справедливости тут же признал, что в таком случае у него тем более нет резонов кого-то упрекать. Очевидно, его приятели привыкли считать, что Кортин – сильный человек, со всеми бедами справляется стойко, и сейчас им было удобно так думать и сообразно вести себя. Так что ему самому надо было выбираться из-под обломков его рухнувшей жизненной постройки.

Он понимал, что выстоять ему должна помочь работа. Теперь работа приобретала для него значение и обещанного Дуне и завещанного ею дела. «Т е б е е с т ь ч т о с к а - з а т ь, и т ы т е п е р ь в с е с м о ж е ш ь», – написала она ему. Первоочередными были две вещи – повесть о Раткевиче и повесть о друзьях молодости. Вот о прочитанных страницах этой последней Дуня и воскликнула удивленно и радостно: «То самое...» Как всегда, она была немногословна, как бы сама себя прервала, чтобы не высказаться наставительно, что именно э т о г о давно ждала от него.

Он был обязан написать эти свои книги. И еще одну, самую, должно быть, главную, которая зарождалась в его душе, – о Дуне. С таким настроением он и встретил свой день рождения, наступивший ровно через месяц после ее смерти, в то же число. Он решил сделать этот день истинно рабочим, как бы исходным для своего возрождения. Тут он прежде всего связывал свои литературные надежды с повестью о Раткевиче. С ее написанием и публикацией. Он работал в течение всего дня, отвлекаясь одновременно на телефонные звонки – наконец-то прорвался заслон отстраненности, окружавший его в последние недели. И эти телефонные звонки совсем не мешали ему работать, они были нужны ему, он говорил с охотой, не спеша, иногда продолжительно, переводя разговор на воспоминания о Дуне после того, как выслушивал

добрые пожелания себе. Подходили ее сороковины, и Кортин почувствовал, что у всех друзей появилась потребность отметить этот день. Их души пришли в движение, это было явно. И он говорил всем, что Дунин Замок – стоит, всё там по-прежнему, на месте, и можно собраться именно там, в Измайлове, в последний раз в её Замке.

В этот день он закончил вторую главу повести о Раткевиче и сделал там всё, что хотел, – удачно дописал, перекомпоновал, отредактировал. А телефонные звонки продолжались до самого вечера. Последним позвонил Коробко. Еще днем пришла от их семейства телеграмма, и Кортин подумал, что лучше бы Сергей позвонил ему и не нужно никакого красивого праздничного телеграфного бланка, это только по видимости эффектнее, а для него суше и пустее, чем живой голос; а еще лучше – зашли бы они, безо всякого приглашения... Но вот Сергей и позвонил, если не зашел, и они по-доброму поговорили, и тоже условились насчет сороковин.

После этого разговора он достал из холодильника полбутылки шампанского, оставшиеся от Нового Года, и выпил, потягивая под яблоки и «мишки на севере», два бокала. Эти «мишки» он удачно, как подарок, купил сегодня по дороге из кафе, куда заходил перекусить-пообедать. Так он отметил свои пятьдесят три года, почтенный возраст, в котором ни загадывать далеко, ни откладывать свои дела уже нельзя. Когда скупой счет и отсчет времени – не скардность, не черствость, но необходимость и благо. И когда всё еще возможно сделать что-то важное, главное, особенно тому, кто столь запоздало находится, как он, на пороге своих возможностей.

Как и в новогоднюю ночь, он сидел в своем кресле перед телевизором, поглядывая на пустое Дунино кресло. Он пил чай, смотрел телефильм по Чехову – шли «Три сестры» – и жалел добрых, честных, неумелых и незащитных героев пьесы. До чего же грустная была жизнь у тех людей, несчастная, неудавшаяся. Да она и вообще такая для многих на этом свете. Чаще всего для тех, чью жизнь он обозначил бы как «путешествие дилетантов» – по прелестному названию романа Булата Окуджавы, недавно опубликованного и прочитанного им и Дуней. Однако сколько же этой несчастности и неустроенности – от самих людей, в них самих, от их инертности, прекраснотушия, смешанного с эгоизмом, даже от хорошего в них, не только от дурного, дурные-то как раз не страдают, теснят хороших. И ему захотелось крикнуть всем – и тем, кто мучился на экране, и тем вокруг, кто был жив-здоров, но ходил в несчастных: «Милые, это еще не горе, и всем нам должно помнить про самую страшную беду над головой».

За всеми этими делами у себя в Сокольниках, не посещая Дуниной квартиры, он вроде вошел в какую-никакую колею, и экскурсия в Михайловское представлялась уже ненужной. Ему расхотелось ехать: ранний выезд, длинная утомительная дорога в автобусе, наставшие январские холода. Да тут еще сделался опасный гололед по сильному морозу после двухнедельной гнилой погоды. Об этом гололеде и дорожных катастрофах с утра до вечера говорилось по радио и телевидению. Приводилась впечатляющая статистика. Кортин подумал о себе, как о бобыле, за которым и ухаживать некому, если он заболит или попадет в аварию. А случись наихудшее, так и вообще некому толком распорядиться ни его сочинениями, ни архивом, ни всем другим достоянием, и не напишет он своих намеченных книг. Куда уж ему рисковать сейчас и изнуряться после всего происшедшего. Но все эти разумные и жалостливые доводы произвели в нем, как всегда, обратное действие: согласился ехать – поезжай, пройди свою судьбу, не уклоняйся. И коли пройдешь благополучно, значит, Великая сила еще за тебя, живи, работай, исполняй свой обет. «Наш рок – наш характер», – думал он, когда невыспавшийся и хмурый, прибыв первым поездом метро к Белорусскому вокзалу, стоял на морозе под ночным небом вместе с Ковановыми в ожидании их автобуса, затерявшегося на площади в массе разнородных экскурсионных машин.

Экскурсия была стремительной, с неминуемой беглостью осмотров и клочковатостью получаемых сведений. К тому же и сами путешественники желали охватить как можно больше пунктов, заехать по пути и в Псков, и в Новгород, и в Печоры – пусть на час всего, да отметить – были! А чтоб воспринять увиденное сердцем, такой задачи у большинства не было.

Оставаясь от этих страстей в стороне, Кортин вспоминал, как позапрошлым летом ездил сюда, в Пушкинские горы, из Ленинграда на автомашине со своими школьными приятелями. Тогда он ехал, зная, что Дуня дома, на месте, ждет его, и все в их жизни идет опять своим чередом – после ее второй операции. Теперь ее не было ни в Измайлове, ни в Сокольниках, он вез ее только в душе своей. И все время думал о ней. Сначала, наблюдая за Ковановыми, он невольно сравнивал его жену с Дуней и отмечал про себя: «Нет, Дуня бы мне так не ответила, Дуня бы так не сказала, не поступила...» Потом и сравнивать перестал, просто вез ее в себе. И на всем пути, даже резче, чем дома, он чувствовал свою неприкаянность в окружающем мире и шаткость единственного его прибежища в собственной больной душе.

Поездка окончилась без происшествий, но отвлечения не принесла. Она лишь подтвердила ему и без того известную истину, что куда бы ты ни отправился, ты повсюду повезешь с собой самого себя.

Часть вторая. Две судьбы

I

Накануне сороковин он поехал в Измайлово, чтобы подготовиться к этому дню и придать квартире должный вид. У него был намечен целый план подготовки, и в первую очередь он занялся ее книгами – теми, которые Е.А. Никольская выпускала в свет как редактор и которые затем дарились ей благодарными авторами. Со всею массой этих книг он столкнулся год назад, когда она лежала с сильной простудой, а он ухаживал за нею и в один из дней взялся с ее позволения навести порядок в кладовке. Дуня давно запихнула их там на самый верх, не заботясь о какой-либо систематизации и вперемешку с другими ненужными ей книгами. Еще немало отредактированной ею продукции, особенно первоначальной, она и вовсе не сохранила по своему легкому, в отличие от Кортина, отношению к архивности. А в комнате, в застекленных книжных полках, оставила только нескольких своих авторов, весьма известных писателей и приятных, близких ей по духу людей, произведения которых вполне могли находиться в любой хорошей библиотеке.

В этих редактировавшихся ею книгах, собранных теперь вместе и в хронологическом порядке, заключалась по времени наибольшая часть ее взрослой жизни, кроме последнего десятилетия, – самые деятельные, трудовые и, пожалуй, благополучные годы при всей их материальной скудости, воспринимавшейся тогда как общая норма. А благополучными, даже радужными те годы были у нее по молодости, здоровью, интересной работе и общению с авторами, по всему образовавшемуся наконец складу культурного бытия с устойчивым интеллигентным кругом подруг и знакомых людей, где ее, Дину, считали своей, ценили, уважали, любили, и это значительно скрашивало отсутствие у нее «личной жизни». Да ведь и «оттепель» была тогда на дворе.

В представлении людей этого круга, связанных в основном с издательской работой, она была прирожденным редактором. Однако сама она рассказывала Кортину, что мечтала в юности стать биологом или, лучше всего, астрономом. Ее влекла к себе природа, мироздание, и когда за год до конца войны она вернулась из Казахстана с отцом в Москву, то собиралась поступать на один из естественно-научных факультетов университета. Но там уже прекратили прием заявлений. В Москве вновь было полно народу: фронт, не то что в сорок первом, громыхал далеко на Западе, в Польше, приближался к Восточной Пруссии, и жизнь в столице, предвкушавшей неминуемую теперь Победу, кипела с небывалой интенсивностью. Москву наводнило начальство всех мастей и рангов, и дети этого многочисленного советского комсостава – военного и штатского – нахлынули в самые престижные высшие учебные заведения, перекрыв с лихвой нормы приема. Кортину было нетрудно представить, как там проводился помимо открытого и неофициальный, «козырной» прием – звонили телефоны, мелькали порученцы, появлялись сами начальники... А находившаяся вне этого бурлящего потока простая чертежница Дина, чьи документы не взяли рассматривать в университете, случайно проходя по Садово-Спасской, увидела объявление о продолжающемся приеме в Полиграфический институт, который там как раз и помещался. Из этого объявления она узнала, что в институте имеется редакционно-издательский факультет, и подумала о том, что всегда любила литературу, была привержена к книгам, и что это занятие тоже, наверное, подходящее для нее, коли не получается ничего с естественными науками. Была уже осень. Она подала заявление на вечернее отделение. Ее устраивала такая возможность – и посещать лекции, и работать. Ей надо было зарабатывать на жизнь, поскольку отец снова уезжал из Москвы. Он ехал в южные края, в лесопромышленное хозяйство, по предварительной договоренности на невеликую, но само-

стоятельную должность и с предоставлением сразу по прибытии жилья. Своего жилья в Москве у них уже не было – деревянный дом в ближнем дачном пригороде, в котором они жили до войны, больше не существовал, его разобрали на дрова и перекрытия для блиндажей, вырытых на этом последнем рубеже обороны столицы осенью сорок первого года. Да и принадлежал он наркомату угольной промышленности, где Андрей Александрович служил по хозяйственной части. Во время эвакуации в Карагандинском угольном бассейне отец ее переболел малярией и решил по возвращении перейти в другую отрасль, поселиться в благоприятном климате. Двадцатитрехлетнюю Дину он оставлял в Москве, квартировать у знакомых, которые отнеслись к ней, как к дочери. То были добрые, старомосковского склада люди, жившие на тогдашней окраине в деревянном доме с садом, неподалеку от станции метро «Сокол», конечной в те времена на этой первопроектной линии. Они выделили ей угол в комнате, служившей столовой, и аккуратно отгородили эту «девичью светелку» занавеской. Своих детей у них не было. Сам хозяин работал в каком-то лесном главке и, как догадался впоследствии Кортин, это по его, видимо, протекции отправился в южные края отец Дины.

Тот район у станции метро «Сокол», где она тогда поселилась, был ему хорошо знаком. И сопоставляя теперь свою жизнь и жизнь Дуни до пересечения их судеб, Кортин с интересом отмечал, что проходили они в том своем существовании довольно близко другу от друга, как в пространстве, так и во времени. Ибо и он прибыл в Москву в середине войны – вместе с матерью, из уральской эвакуации, по вызову отца. Произошло это на год раньше возвращения Дины. Отец его был тогда, после госпиталя, оставлен служить в газете Московского военного округа, и жили они в окружной гостинице близ станции метро «Сокол». То есть, жили там отец с матерью, а он вырывался сюда в увольнение из своего военного училища, в которое попал вскоре по приезду в Москву, когда его, семнадцатилетнего, призвали в армию. Но вероятность жизненного пересечения его и Дины в ту пору была минимальной. Они вращались на разных орбитах, и Вышнему астроному, ведающему расчетами людских судеб, еще предстояло эти орбиты свести.

Зато она быстро обрела в институте двух своих самых близких подруг – Фиру и Гиту. Сближение началось с эпизода в первые же недели занятий на первом курсе. В аудитории, где занималась их группа, стояли столы на двух человек. И Дина оказалась за столом с миловидной девушкой, которая в один из дней вдруг пересела от нее на другое место, к другой, тоже миловидной девице. Дина осталась за своим столом одна, и это одиночное сидение на какой-то момент отделило, обособило ее от всей группы словно парию. Но тут поднялась со своего места Фира и как ни в чем не бывало села рядом с нею. Фира уже дружила с Гитой, и эти две еврейские девушки стали подругами русской Евдокии.

Природные способности и прилежание вывели студентку Никольскую в число наиболее успевающих. Она даже сумела ускорить на полгода окончание института вместе с несколькими выпускниками, сдав на последнем курсе в зимнюю сессию все заключительные государственные экзамены. Она должна была полностью содержать себя, не рассчитывая на чью-то помощь, и спешила получить стабильную, сравнительно неплохо оплачиваемую работу.

Таким образом, вроде бы по случаю, сделалась она через четыре с половиною года редактором политической и художественной литературы, как это указывалось в выданном ей дипломе.

И в Воениздат она попала тоже через случай, ибо после окончания института не получила, как «вечерница», никакого распределения на работу. Месяца три-четыре она самосильно обивала пороги издательств и всяких редакционных отделов, куда ей советовали обратиться второстепенные служащие министерства высшего образования (наркоматы уже несколько лет как были переименованы в министерства). Ей везде отказывали, вежливо, но быстро – нет мест. Быть принятой на должность редактора без казенной бумаги, рекомендательного звонка или своего знакомого оказалось невозможным. А в ее случае сбавывал и дополнительный

фактор. Видимо, для начальников отделов кадров сдерживающим обстоятельством являлся также ее физический недостаток. Авторитетная идеологическая должность редактора в их сознании не сочеталась с внешней убогостью. И после тягостного и тщетного хождения, не имея больше средств к существованию, Дина Никольская пришла опять в министерство на прием к какой-то заведующей и попросила послать ее на периферию, лишь бы по официальному направлению, на определенное место и по своей приобретенной специальности. Бог с ней, с Москвой, коли так... И надо же было случиться, что именно в это время туда пришел служивший в Воениздате морской полковник Федор Изотович Резников, муж Нины Григорьевны. И пришел как раз с заявкой на двух-трех редакторов из институтских выпускников для работы в своем издательстве. Ему предложили Никольскую, он посмотрел на нее и – не отказался.

Возможно, история эта обрела в поздних пересказах, слышанных Кортиным в их компании, черты легенды с образом некоего благодетеля, а на самом деле все было проще: в министерство пришел воениздатовский представитель с заявкой, по которой и направили страждущего молодого специалиста, оказавшегося как раз под рукой. Там она и предстала перед Резниковым. Полковник, конечно, доложил старшему начальнику. И направление это с министерским штампом и чиновной подписью восприняли в дисциплинированном Воениздате как обязательное. Но так или иначе, поступление туда Дины всегда связывалось с именем Резникова, которого она за глаза с теплотой называла Изотычем...

А в беспредельном книжном океане возникла со временем капелька книг, в которых на самой последней странице, где петитом набираются выходные данные, значилось: *«Редактор Никольская Е.А.»*

Когда Кортин впервые появился в Воениздате, ее положение там уже вполне определилось. Она была на хорошем счету у начальства и пользовалась приятной сослуживцев – добросовестный работник, скромный, добропорядочный человек. А авторам сам Бог велел быть почтительными с редакторами. Сейчас о том времени (когда и Бог в стране писался с маленькой буквы) живо напоминала надпись на тоненькой книжице стихов, сделанная поэтом-фронтовиком, который издавал тогда у них свой первый сборничек: «Евдокии Андреевне – с глубочайшим уважением к ней, спрятавшейся так ловко за воениздатовскими цветами. Да смягчат они горечь редакторской правки “чайников” и графоманов». Она не являлась редактором этого поэтического сборничка, так что подношение было сделано не по обязанности, а по очевидной симпатии. Что до упоминавшихся графоманов, то действительно после войны в писатели хлынуло много военного люда, в том числе в чинах, и Никольской также досталось редактировать их беспомощные рукописи. Сам же веселый даритель впоследствии стал поэтом известным, но к властям не подлаживался и издавался со скрипом...

Кортин помнил непривлекательный кирпичный дом старого казенного покроя, неоштукатуренный, без фасадных украшений, где помещалась в те годы часть Воениздата, и комнату с высоким потолком, видимо, большую, но перегороденную на отсеки-закутки канцелярскими шкафами, забитыми бумагами. Этакая учрежденческая коммуналка. В одном из таких отсеков, примыкающем к стене с окном, и работала редактор Никольская вместе с еще двумя дамами. Столы там стояли тесно, проходили к ним боком. Наиболее укромное место было и вправду у Никольской. И цветы на подоконнике, конечно, поливала она, а, должно быть, и развела сама эту оранжерею по любви к природе. На переднем же плане восседала приметная Софья Львовна Добина, вскоре ставшая Коньковой, тогдашняя издательская подруга Дины; она выпускала в свет первую книжку того поэта и вообще любила открывать новые имена.

Дата под его надписью стояла памятная – 1956 год. Год, когда началась «оттепель» взрывом секретного доклада Хрущева на самом знаменитом, но теперь тщательно замалчиваемом XX съезде партии. И всякий раз, отмечая эти ухищрения, Кортин вспоминал слова Дуни, сказанные уже во времена брежневских съездов, что для нее первым и последним съездом этой партии был тот один, двадцатый.

В хрущевском докладе, который потряс делегатов, вскрывались ужасающие беззакония Сталина, умершего три года назад. Речь шла о массовых репрессиях тридцатых-сороковых годов, проводившихся им под лозунгами борьбы с «врагами народа», но это осуждение никак не затрагивало основ всей созданной большевиками тоталитарной системы. Тут у Хрущева сомнений не было. Он винил только Сталина, извратившего своими злоупотреблениями властью великое дело Ленина, дело построения социализма, самого передового в мире общественного строя.

Потом этот доклад в виде «закрытого письма ЦК» стали читать, словно на дореволюционных большевистских сходах, всем членам партии, за ними – и беспартийным в их трудовых коллективах. Так правда о Сталине, на которого в СССР молились четверть века, правда о земном вседержителе, заменившем здесь Бога, двинулась в народ, вызывая в людях и раскрепощение, отверстость душ, и растерянность, и неприятие, злобное отвержение перемен.

К тому сроку Дина Никольская прошла уже свою стадию освоения редакторской работы. И самую важную для себя стадию жизненного становления. Как считал Кортин, все то, что было в ней заложено от рождения, что затем проросло и развилось в душе по мере ее взросления, – все это нашло здесь, в издательстве, свое жизненное место. Здесь была культурная по тем временам, нужная ей среда, здесь она занималась интеллигентным трудом, встречалась с известными авторами, и ее собственные ум, скромность, достоинство ценились и уважались. И в тот момент совсем не главным было даже, какие книги она редактировала, важна была сама эта работа с книгой, процесс общения со словом, с текстом. Ведь и в слабой книге находилось что-то хорошее. А отталкиваясь от слабых рукописей, быстрее вырабатывались свои строгие критерии и вкус.

Конечно, все они так или иначе исповедовали тогда «социалистический реализм» с его темами, героями, сюжетами, идеями и идеалами. То была среда их действительного духовного обитания, принимаемая за норму. Так они были воспитаны. Многим из них было еще далеко до понимания, что социалистическая идеология коварно подменяла в их сознании общечеловеческие ценности. Они честно верили, что социалистический путь – исторически закономерен, научно обоснован и подтвержден самой жизнью. А самым неопровержимым доказательством этого служила великая Победа СССР над фашистской Германией. Воистину, какая еще страна смогла бы вынести такое нашествие и победить! Как сформулировал Гений всех времен и народов: победил наш общественный и государственный строй. По этому поводу Кортин до сих пор вспоминал другую формулу, услышанную от одного молодого физика много лет назад, когда сам он, гвардейский старший лейтенант, был ею озадачен. В разговоре о победе в Отечественной войне тот физик, прервав его военные рассуждения, отчеканил: «Мы их не победили, а п е р е у м и – р а л и»...

Однако общественное поведение человека в той сугубо идеологизированной заданности, где он поступал сообразно предписанным установкам, отличалось от его повседневного бытования. Здесь-то люди должны были исходить из вечных понятий человеческой добропорядочности, вошедших в них в детстве с народными сказками, затем сказками Пушкина, затем, в отрочестве, с Жюль Верном, Дюма, Вальтер Скоттом и, наконец, с Тургеневым, Толстым и другими классиками. Эта классика составляла их д р у г о й мир, который удивительным образом сосуществовал с тем, идеологизированным, не противопоставляясь ему, соприкасаясь, как-то даже соединяясь, но не смешиваясь. Кортин видел в этом один из феноменов человеческой психики, ее податливость, способность к внушению, к самообману. И в то же время он считал, что именно великая русская литература, стоявшая своими бастионами на книжных полках множества общественных и домашних библиотек, питала и сохраняла в людях душу живую, несмотря на всю фантазмагоричность сложившейся в стране действительности.

А «оттепель» чудодейственно расколдовала их от плена царствовавших догматов, и п р а в д а была тою волшебной палочкой, по мановению которой пышные одежды идеологии

начали опадать, превращаться в тлен, обнажая ужасающую суть сталинизма. Сперва только сталинизма. И в этом процессе прозрения главным двигателем по пути правды оказывалась в человеке совесть. Правда была свет, она высвечивала подлинную реальность, но готовность и способность двигаться к свету давала ему совесть, о которой постоянно говорила русская литература, державшая ее своей сквозной темой. Чем больше ее было в душе, тем глубже, решительнее откликнулся человек на разоблачения совершенных преступлений и освобождался от укоренившейся в нем идеологии. И наоборот.

У редактора Никольской с «оттепелью» совпали годы ее самой активной работы. И перебирая сейчас выпущенные ею книги, Кортин убеждался, что она постаралась использовать все имевшиеся тогда возможности для привлечения и поддержки достойных авторов. При том, что начальствовали в Воениздате кадровые генералы и офицеры, назначаемые Главным политическим управлением. Но ей помогала репутация добросовестного редактора, понимающего и любящего настоящую литературу. И нрав у нее был ровный, сдержанный, не конфликтный, и вид строгий, так что начальство до поры до времени вполне доверяло ей. А новый главный по художественной литературе попервости даже советовался с Никольской, пока не применился к своему креслу на собственный манер. К концу «оттепели» работать ей стало трудно: все чаще вычеркивались из плана предлагавшиеся ею книги, многие ее авторы были уже не в чести, а сама она оказалась на подозрении у начальства. Зато валом пошли рукописи прежних и ново-явленных дружков главного, занимавших должностные кресла в подобных же государственных гнездах печати, где, само собой, стал издаваться их главный, сделавшийся таким образом тоже писателем. Как раз в тот момент Дину перетащила в другое издательство ее приятельница, ушедшая из Воениздата, как она выразилась, на гораздо большую зарплату и гораздо меньшую казарму. Вовремя перетащила. Правда, редактировать здесь пришлось научно-популярные книги, не художественные.

Уже на похоронах, по прошествии тринадцати лет, Кортин узнал от Лозового, что после ее ухода тот главный по художественной литературе, который сам ринулся в писатели, заявил на служебном совещании – вдогонку ей и для острастки остальных вольнонаемных редакторов – мол, Никольская могла подписать в печать любую антисоветчину, лишь бы гладко было написано... Имелась в виду и книга Лозового, которую ей засчитали тогда в наибольший редакторский грех.

Кортину было хорошо известно это выраженьице – «гладко написано», которым литературные начальники и их подручные третируют художественность, или «форму», как второстепенную категорию в противовес «примату идейного содержания». То была давняя классовая линия в литературе, обеспечивавшая в ней полный простор братству идеологически активных бездарей, со временем становившихся хваткими и тщеславными писательскими тузами.. Знал он и то, что за его Дуней тянулась репутация политической неблагонадежности, переживал, что ее не взяли на работу в новое издательство, которое тогда создавалось и широко афишировалось и где она снова могла бы вернуться к художественной литературе. Но инцидент, рассказанный Лозовым, почему-то не дошел ни до него, ни до их компании. Почему? Ведь сама-то она наверняка знала об этом публичном доносе. И тут ему увиделось ее невозмутимое личико и сразу объяснилось, что по натуре своей она думала тогда не столько об опасности обвинения, сколько о том, чтобы не показаться перед друзьями каким-то героем, гордым своим диссидентством, не причислиться незаслуженно к лику настоящих борцов и мучеников...

А на новом месте, после родного Воениздата, к длинному ряду отредактированных ею книг военной тематики добавилось несколько книжек из области биологии, которой она мечтала заниматься в юности.

Сейчас все эти книги высились стопками на голом столе, подобранные Кортиным для упаковки и перевозки в Сокольники. Но он с готовностью составил их в уже пустую централь-

ную полку, и эта объемистая полка быстро заполнилась до отказа, не вместив всего имевшегося здесь количества. Несколько первостатейных книг с самыми интересными и характерными надписями он положил поверх поставленных в ряд, чтоб было легко их достать и показать друзьям. Он намеревался во время сороковин непременно обратиться к этой стороне жизни Дуни, когда они будут говорить о ней. На д е в я т ь д н е й он уже пытался привлечь внимание к этим книгам, но тогда было слишком малоллюдно и сам вечер пошел не так, как он хотел.

Конечно, ему было известно, как широко дарятся и радостно, с преувеличениями надписываются авторами только что вышедшие книги. Тем значимей представляло теперь упоминание из надписи в надпись о строгости литературного вкуса и одновременной доброжелательности редактора Никольской. Евдокию Андреевну сердечно благодарили за совет, помощь в работе, поддержку перед начальством; на нескольких книгах разных авторов Кортину встретилось и вовсе неожиданное для существовавшего издательского процесса словосочетание – «другу-редактору». Нашлись даже такие авторы, которые откровенно признавали, что появлением их книги они всецело обязаны своему редактору. И вдова одного военного писателя-мариниста благодарила ее за память об умершем, который сам уже не мог постоять за себя в издательских кабинетах. Кортин помнил, с каким трудом Авдотья выпускала в свет этот посмертный том его избранных произведений. А самый-самый талантливый и известный из ее авторов, прославившийся сразу после войны окопной повестью, за которую получил Сталинскую премию еще раньше Раткевича, вслед за словами о великой-великой своей благодарности восклицал: «Побольше бы таких редакторов! Побольше бы таких людей!» Как расцеловал ее. Эта надпись была сделана на небольшом сборнике его фронтовых рассказов, который Авдотья сумела п р о б и т ь в своем военном издательстве почти двадцать лет назад, в «оттепельное» уже время, но все равно требовавшее преодоления тамошней косности. Работа с этим писателем была для нее большой радостью. Она, как догадывался Кортин, испытывала к нему и сердечное влечение, тщательно ею скрывавшееся. И он, видимо, в какой-то момент увлекся ею, горячо пригласил приехать к нему в гости в Киев – посмотреть город во всей красе и познакомиться с его друзьями. «Мы будем носить вас на руках и вам не придется сделать ни одного шага по земле!» – объявил он ей. Это была единственная подробность их личных отношений, которую сдержанная Авдотья привела как-то с улыбкой приятного и слегка ироничного воспоминания в разговоре с Кортиным об этом писателе.

Очевидно, этот писатель, так же, как позднее и Кортин, пленился ее душой и, отрешившись от ее физического недостатка, сумел увидеть в ней женщину. А Авдотья, при всей своей внешней защитной строгости, продиктованной повседневным опытом жизни, была обращена к человеческой душевности. Однако строгость в ней была не только внешняя – она вообще была благовоспитанной по натуре, придерживалась твердых правил. Так что размашистое, даже божественное «мы будем носить вас на руках» могло сыграть и, верно, сыграло тогда роль тормоза. В Киев она все же съездила, но не сразу, позже, и останавливалась там у какой-то дальней родственницы или знакомой, как и считала единственно возможным. И вела себя, как представлял все это Кортин, весьма чинно и самостоятельно, при всем желании и удовольствии видеть этот город и приятного ей человека, столь известного и так расположенного, даже увлеченного ею, который подарил ей там, в Киеве, свой только что вышедший однотомник с надписью – «от искренне любящего ее». Но, полагал Кортин, сама она еще не была тогда готова вот так сразу поверить в появление мужчины в своей жизни и позволить себе раскрыться навстречу. И устоявшееся, как предопределенное, девичество продолжало держать ее в своем плену. В общем, нужно было еще время и, кроме увлеченности, чувство неизбежности перелома, и нужен был Кортин, сумевший приучить ее к себе и в которого она поверила, как в свою судьбу...

А у этого писателя-фронтовика началась потом новая война – с властью. Первый конфликт произошел еще в «оттепель» из-за путевых очерков, в которых он рассказал о том, что увидел в США. На очерки набросился сам Никита, умело натравливаемый на интеллигенцию

своими идеологическими советниками. Автору очерков, в которых не расписывались трущобы бедняков и очереди безработных за благотворительной похлебкой, объявили строгий выговор как члену партии и немедленно пресекли допуск в печать. Но после падения Хрущева положение его причудливо изменилось к лучшему, даже злополучные очерки издали отдельной книгой, которую он, конечно, также подарил Евдокии Андреевне с надписью – «от благодарного и искренне любящего...» То было уже на переходе от «оттепели» к «ползучему неосталинизму». И он открыто противостоял этому переходу. Подписал коллективное письмо против судебной расправы над своим украинским коллегой, затем, русский человек, непозволительно вскрывая правду, выступил в Бабьем Яру в годовщину расстрела там евреев. На сей раз его после многомесячных нервотрепных расследований и проработок исключили из партии, что фактически делало его изгоем, о т –

щ е п е н ц е м, ставило вне закона. В подтверждение этого его положения сразу рассыпали набор уже подготовленных журнальных публикаций, вычеркнули из плана двухтомное собрание его сочинений и вообще запретили издавать в будущем его книги, упоминать его имя. Изъятие из общественной жизни проводилось тотальное – не упустили даже запретить производство фильма по его сценарию. Наконец, нагрянули и кагэбешники, провели у него в квартире двухсуточный обыск с засадой и с конфискацией рукописей, архива, переписки, отечественных и зарубежных книг, содержание которых сочли «антисоветским». Обыскивали всех приходивших к нему знакомых, в том числе и женщин. Он жил в осаде. Ему был запрещен выезд из Киева, и при отчаянной попытке вырваться во что бы то ни стало к друзьям в Москву он был насильно возвращен из московского аэропорта домой. И вместе с тем на него все время оказывали психологическое давление иного рода: в разных инстанциях – от непосредственно жандармских до руководящих писательских – его старались обротать, подталкивали к публичному осуждению Солженицына и Сахарова, что немедленно и широко открыло бы ему издательские двери, как гарантировали в этих параллельных инстанциях. Но он держался стойко, нигде и ни в чем не покривил душой, не принял их сребреники, и в конце концов его выжили из страны, заставили уехать за границу – он был лишен возможности не только печататься, но даже писать «в стол». Произошло это вскоре после насильственного в ы д в о р е н и я Солженицына – такую тактику стали применять против тех «диссидентов», кто был слишком известен, чтоб задавить их без широкой огласки в стране и вселенского шума на Западе. Поселился он во Франции, в Париже, и работал в русском журнале «Континент»; Кортин и Дуня узнавали о нем из его собственных выступлений по зарубежному радио и рассказов третьих лиц в Москве, слышавших о его парижском житье-бытье от тех счастливицев, кому удавалось ездить в Париж и незаметно пообщаться с ним...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.